



РЫЦАРЬ УМЕР  
ДВАЖДЫ

ЕКАТЕРИНА ЗВОНЦОВА

# Екатерина Звонцова

## Рыцарь умер дважды

### Серия «Ведьмин сад»

*Busya*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=43373707](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43373707)*

*Екатерина Звонцова "Рыцарь умер дважды". Серия "Ведьмин сад":*

*Издательство АСТ; Москва; 2019*

*ISBN 978-5-17-116002-9*

### **Аннотация**

1870 год, Калифорния. В окрестностях Оровилла, городка на угасающем золотом прииске, убита девушка. И лишь ветхие дома индейцев, покинутые много лет назад, видели, как пролилась ее кровь. Ни обезумевший жених покойной, ни мрачный пастор, слышавший ее последнюю исповедь, ни прибывший в город загадочный иллюзионист не могут помочь шерифу в расследовании. А сама Джейн Бёрнфилд была не той, кем притворялась. Ее тайны опасны. И опасность ближе, чем кажется. Но ответы – на заросшей тропе. Сестра убитой вот-вот шагнет в черный омут, чтобы их найти. На Той Стороне ее ждет заживо похороненный принц. Древние башни, где правит Вождь с зачарованным именем. И война без правых и виноватых. Живая должна заменить мертвую. Но какую цену она за это заплатит?

# Содержание

Пролог	5
[Тот, кто давно мертв]	5
Эпитафия первая	9
[Эмма Бернфилд]	9
Часть 1	13
1	13
2	32
3	62
4	89
5	146
6	180
Конец ознакомительного фрагмента.	183

# Екатерина Звонцова

## Рыцарь умер дважды

*Мы видели их, мы слышали их, пути на краю  
земли, И вела нас Сила превыше земных, и иначе мы  
не могли.*

*Р. Киплинг. «Песнь мертвых»*

# Пролог

## [Тот, кто давно мертв]

*Они* танцуют — на лицах черные, красные и охристые полосы, треугольники, пятна. Танцуют — и ночной ветер развеивает волосы, поет в украшающих прически звериных черепах. Танцуют — и безоружные не менее страшны, чем те, в чьих руках копья или боевые топоры.

*Они* завораживают, не отвести глаз. Я впервые на этом празднестве, приглашен единственным, кто вправе был меня пригласить, ведь обычно они нас сторонятся. Хотя к ним добры и никому не дозволено обижать их, они словно не верят, не верили с самого начала. Кто знает? Они не гонят любопытных прочь, приветливы, если к ним обратиться, а при встрече неустанно благодарят меня за доброту: и сейчас отдали лучшее место, поднесли лучшую пищу в бесхитростных деревянных и плетеных пиалах. Но сами... сами они извечно делают вид, что их нет. И все равно они уже незримо всюду.

О *них* говорят на улицах, к ним бегают дети — посмотреть на танцы, моления, даже трапезы. Их музыка — колдовство: едва просыпаются чужеземные флейты и барабаны, едва врываются в вечернюю тишину зычные голоса, как мно-

гие спешат на звук, забыв все прочее.

*Они* завораживают. Они прекрасны. У них столько тайн. Как же я их ненавижу.

Больше других — тебя, нечестивец, *тебя*. Ведь это тебя слушаются, ты велишь литься песне, заклятью, вину. Ты уже не юн, но в расцвете сил и красоты, у тебя пронзительные глаза и величаявая поступь. Вождь — так *они* зовут тебя, но для меня ты просто грязный зверь. Был и будешь.

Ты танцуешь среди них, притворяясь равным, — но все равно высишься, вырастаешь искусно вырубленным деревянным божком. В твоих длинных волосах вороний череп; чудится, что глазницы светятся золотом. Впрочем, не чудится, ведь ты колдун, как и я. Другой свет, свет твоих глаз, рожден кострами — теми, что пылают теперь на площади, теми, что видны по всему краю Форта, где вы вольготно обжились. Что вы ищете в огне? К кому взываете, запрокидывая головы, давая пламени играть на лицах? Однажды я спросил, молитесь ли вы Звездам. Что ты ответил? «Звезды — лишь частицы мира, молиться им — что молиться каплям росы». Я промолчал, мы не смели неволить вас в вере. Не стоит мешать слепцу, сознательно выбравшему слепоту.

...Ты танцуешь, восхваляя ваших странных духов, но скоро вернешься и сядешь подле меня. Наши чаши рядом, там недопитое вино — оранжевое, как огонь, апельсиновое, которое вы так полюбили. Оно терпче нашего: вы добавляете туда дикие ягоды лиан, соцветия сорных ползучих кустарни-

ков. Не потому ли запах так резок и сладок, не потому ли так играет искристая глубина?

Вы взяли местный рецепт и извратили: *наше* вино не туманит столь сильно мысли, не будоражит душу. Вы взяли наш дом и изменили уклад до неузнаваемости: ходите босыми, спите в теплые ночи на крышах, разжигаете ослепительные костры. Вы взяли все, что вам щедро предложили, но вам было мало. А я, наивный глупец, не замечал.

Жаль, я хватился поздно, жаль, лишь ныне. Когда ты, нечестивец, взял и душу моего сына, околдовал рассказнями, будто каждый волен поступать, как хочет, и нет оков, что нельзя сбросить. Когда он глядит на тебя с обожанием, когда пересказывает ваши сказки и забывает свои. Когда его герои — Голубая Сойка, сбежавший в Лунные Земли вопреки воле отца, и Койот, коему не стыдно презреть долг во имя собственного счастья или вовсе мимолетного развлечения.

Я ненавижу тебя. Тебя и отраву, что ты принес, отраву, от которой ширится и без того огромная пропасть меж мной и моим мальчиком. И это не все; ведь сегодня он один боготворит тебя, а вскоре к тебе потянутся многие, сотни тех, кто слышит ваши песни. Но нет... нет, я не допущу. Вы чужаки, таковыми и останетесь. Посмотрим, что станет с твоим народом без вождя?

Мы не знаем войны, нечестивец, и почти не знаем оружия. Это ты принес сюда первый лук, первый топор и трубку, стреляющую дымом и сталью. Мы не скоро научимся де-

лать подобное; мы никогда не видели в том нужды; нам хватало мечей и доспехов для фортовой стражи. Но наши тайные умения тоже широки, а наш мир, мир, столь тепло вас принявший, на самом деле коварен.

Он при мне — алый порошок. Пыльца черной орхидеи, самого красивого цветка наших краев. Она обжигает, даже если случайно коснуться лепестка; мы все носим ее с собой, чтобы отпугивать змей. Когда ты выпьешь пыльцу с вином, она разест твоё нутро, но никто не увидит этого. Сначала ты просто уснешь подле меня. Задремлешь под треск пламени, задремлешь, устав от плясок, не закричишь. Никто ничего не заподозрит, ведь вы так много знаете об острых стрелах и так мало об отраве, хотя сами — отравы.

Танцуй, нечестивец, молись. Танцуй, молись, ведь моя рука уже замерла над твоей чашей.

Танцуй. Молись. И...

Как близко сегодня наше зеленое небо.

Что это? Впервые за все мое существование оттуда падает стремительная звезда?

И... почему эта звезда взрывается прямо в моей груди?

# Эпитафия первая Сердце сестры

[Эмма Бернфилд]

Я помню Джейн.

Я помню ее с того далекого дня. Июнь, запах лесных цветов и мелькание крыльев — никогда ни до, ни после мы не видели в саду столько бабочек. Белых бабочек, говорили, что из горного снега. Две маленькие дурочки, мы с Джейн, верили небылицам: до гор было недалеко, пара миль против течения по зеленым холмам, не сворачивая. И вот уже торопливая беглянка-река Фетер, голубая змейка. Вот деловитый Оровилл — городок на пути к расцветающему Сакраменто. И вот, наконец, огромная безмолвная Сьерра-Невада, ее промозглые склоны, поросшие древним лесом. Даже теперь, когда в Калифорнии всюду добывают золото, когда оно потоками растекается по Америке и, ища удачу, всюду селятся люди, цепь остается дикой. С белых пиков вполне могут прилетать снежные бабочки, но я уже не узнаю: горы берегут свои тайны. Как берегла их моя Джейн. Жаль, я поняла это поздно.

*А тогда* — раннее лето, июнь. Пыльца на пальцах. Мы

учились ходить, пытались подняться из высокой, — так нам казалось, на самом деле было едва-едва по колено, — травы. Крепко держались друг за друга и за изумрудную живую изгородь, увивавшую ворота особняка. Мы засмеялись, когда удались первые, еще маленькие и неловкие, шаги. Мы сделали их одновременно. Вместе. Мы все делали вместе, с самого появления на свет, и так должно было продолжаться до могилы.

Я помню Джейн.

Я помню ее в дни, когда мистер Уинслоу, учивший нас дома, становился особенно зануден. Пускался в пространные философствования или нырял в дебри американской и мировой истории, нам, озорным девчонкам, не очень-то интересные. Джейн, стоило статному старику в опрятном зеленоватом сюртуке отвернуться, бесшумно передразнивала его манеру махать руками, а я давилась со смеху. Это не значило, что учеба не прельщала нас, совсем наоборот: мистер Уинслоу грустил, расставаясь с нами, и назвал нас «самые смышленные особы на моей пыльной памяти». Мы же на прощание вышили ему шесть носовых платков.

Я помню Джейн.

Помню ее долгие прогулки и задумчивые взгляды в вечернее небо. Помню, как, приходя, она садилась у стены и обнимала колени; подол платья всегда был перепачкан землей и хвоей. Помню день, когда она небрежно спросила у отца: «Зачем к нам приезжали мистер и миссис Андерсен?», и он

быстро переглянулся с матерью, и оба расцвели улыбками, полными счастливой надежды. А Джейн вдруг потупила голову...

Я помню Джейн.

Я никогда не забуду утро, когда она вернулась домой, после того как пропала на три дня. Вернулась, истекая кровью, оставляя яркий алый шлейф на молодой траве, подернутой росой. У Джейн был вспорот живот; она зажимала внутренности бледной дрожащей рукой.

Пока сестра, хватая воздух сухими губами, лежала навзничь и доктор тщетно удерживал в ней искры жизни, она не успела ничего рассказать. Может, если бы она дождалась шерифа, к которому питала особую симпатию и которого звала «надежнейшим джентльменом Оровилла», наша несчастная семья поняла бы хоть что-то. Но Джейн не смогла дождаться. За доктором прибыл лишь пастор; с ним разговор был недолгим и остался тайной. Мрачной тенью пастор явился для исповеди и еще более мрачной — исчез, когда все кончилось.

Джейн умерла быстро, без криков и молитв, просто закрыв глаза, будто хорошо потрудились за день и теперь решила поспать. Ее прохладная рука выскользнула из моей, как выскользывают когда-то тонкие побеги живой изгороди. Последними ее словами было:

– Сходи к Двум Озерам, Эмма. Пожалуйста, сходи к Двум Озерам и...

Я помню Джейн.

Я никогда ее не забуду.

# Часть 1

## На щите

*Мне снилось: мы умерли оба,  
Лежим с успокоенным взглядом,  
Два белые, белые гроба  
Поставлены рядом.*  
*Н. Гумилев*

### 1

## Две сестры [Эмма Бернфилд]

*Здесь. Агир-Шуакк, мир под  
Зеленым небом, Сухой сезон*

Мне страшно.

Настолько, что прошла волна тошноты, но я по-прежнему не могу пошевелиться. Тело затекло в расщелине меж корнями, холодное, липкое, но как никогда живое, впивающееся в эту ускользающую жизнь. Платье пропиталось грязью и потом, а самый громкий из еще доступных мне звуков — стук

в висках. Интересно... *они* слышат? Тогда они скоро придут.

Чужой мир полон трав и папоротников, колючего кустарника и гибких ветвей. Здесь нет елей и сосен, седых от мха, а высится что-то незнакомое, увитое орхидеями и лианами с длинными стрекучими усами. Побег шевелится, как толстые черви; один плотный лист задел мою щеку и липнет к ней. Вместо освежающего хвойного флера — душный смрад. Гнилой смрад болота, горький смрад подступающей рвоты, едкий смрад дыма. Дыма? Что-то жгут... где жгут? Не меня ли выкуривают, как зверя?

Я еще что-то понимаю, только поэтому мысль бежать и кричать кажется глупой. Поляна открытая, деревья замыкают ее в полукруг. Ни камня, ни пня, ни хоть чего-нибудь, где можно укрыться. Меня увидят и в лучшем случае поймают. Я не знаю, что тогда сделают, но этого нельзя допустить. К тем, кто уже стрелял тебе под ноги, лучше не приближаться по доброй воле. Этот закон я запомнила в Калифорнии.  
*Дома.*

Закрываю глаза, делаю вдох, пробую шевельнуться. Не ранена, убедилась хотя бы в этом. Дальше? Нужно понять, что случилось, где я. И пусть...

Пусть они уйдут.

Но они не уйдут. Меня видели, знают, куда я побежала. Лучше бы я осталась там, на другой поляне, возле поросшей кувшинками воды, пусть в ней и прячется *тварь*. Тварь, затащившая меня сюда, когда я склонилась над одним из Двух

Озер еще в своем *родном* лесу. В лесу Джейн. Моей мертвой Джейн.

Пусть они исчезнут!!!

Перепуганный ребенок беснуется в голове, его не утихомирить. Все, что я делаю, чтобы успокоиться, — представляю *омут*, сине-зеленую заводь. Заводь, откуда смотрели глаза-провалы, заводь, где меня назвали чужим именем и взяли за руку. Может, оттуда я смогу вернуться? К маме. Отцу. Я все расскажу шерифу и пастору. Я подниму весь город, только бы...

Домой. Домой. *Домой.*

Но я могу лишь выть в своем убежище. И этого достаточно, чтобы меня нашли: просвистев в воздухе, что-то пронзает кору рядом с моим левым виском. Шея отзывается болью, стоит повернуть голову, рассудок взрывается страхом. Стрела. Это горящая стрела.

Пламя странное, желтое, в нем отчетливо виден черный наконечник, испещренный знаками. Откуда-то я точно знаю: как и огонь, наконечник обжигающе холодный. А этот материал... Вулканический камень. Это обсидиановые стрелы, я находила такие, их много валялось среди прелой хвои, когда однажды...

«— *Яблочки, не ходите в лес за дубравой. Там давно ничего нет.*

— *А как же индейцы?*

— *И индейцев нет. Это дикие места.*

— А что значит «дикие»?

— Дикие, значит, там может случиться что угодно. Так что будьте хорошими девочками. Даже ты, Джейн...

*Джейн... Джейн...*

Слышу голос отца и смотрю на желтое пламя. Оно все ярче; ослепляет и в конце концов заставляет прищуриться. Оно меня не трогает, не трогает и дерево, просто пляшет на ветру. Но я сдаюсь. Зажмуриваюсь, сжимаюсь. Я твержу себе, что сплю, что достаточно ущипнуть себя, и все кончится, что на самом деле ничего не произошло.

*Домой. Если бы я могла попасть домой... Ничего не произошло.*

Продолжая прятаться среди корней, не способных меня укрыть, я прячусь и там, где до меня точно не доберутся. В собственных мыслях, в прошлом — переносюсь на несколько недель назад. Когда меня найдут и там, я умру.

## *Там. Калифорния, лето 1870 года*

Джейн нет. Сегодня «ее четверг», и сейчас самый его разгар. Джейн, как обычно, бродит в лесной тени и мечтах. Мне ее не найти: не только потому, что я не знаю наших дебрей и до смерти их боюсь, но и потому, что сестра удивительно прячется, подчас находясь в шаге от меня, и возвращается, как ей вздумается.

Пора бы привыкнуть: Джейн уходит на долгие прогулки

с тринадцати лет. Бедные приземленные родители в конце концов смирились и выделили ей «свои четверги». Джейн отвоевала их с обещанием — не забредать далеко. Пусть окрестности Оровилла тихие, пусть на тропах не подстерегают грабители и дезертиры, пусть сюда не долетело эхо войны, а последний здешний краснокожий ныне носит шерифский значок. Лес всегда останется лесом. В нем будут жить холодный сумрак и страхи. Даже залитый солнцем, исхоженный вдоль и поперек, лес извечно прячет какую-нибудь угрозу на случай, если люди станут слишком назойливыми. Однажды лес уже избавился от тех, кого приютил. Кто знает, не произойдет ли это снова.

Скрип пустых качелей рядом раньше успокаивал. Сегодня от него грустно, настолько, что я встаю и начинаю бесцельно скитаться. Праздное дело для девушки, девушка должна уметь себя занять: не чтением, так музыкой, не музыкой, так вышивкой, не вышивкой — так помогла бы по дому, а почему нет, привыкай, рабство-то в прошлом. Но папы, чтобы сказать подобное, рядом нет. И я... слоняюсь. Кажется, это слово в ходу там, где по Фетер сплавляют золото, на улицах устраивают драки и мало кто следит за языком.

Ни звука. Спит наш дом, который должен напоминать особняк наполеоновских времен, а напоминает кремовый торт, утонувший в неухоженной зелени. Не колышутся занавески, ни одного силуэта не мелькает в оконных проемах, а два каменных грифона — те, что по устарелой парижской

моды охраняют крыльцо, — разнежено уронили на лапы головы. Грифонам душно. Они рады, что эта часть дома наконец-то в тени и можно прикорнуть.

Мне хватает десяти минут, чтобы обойти все. В четвертый или пятый раз за день оглядеть фонтанчики, клумбы и птичьи купальни; миновать огороженный пяточок, к которому я обычно не приближаюсь, — на восточной стороне двора. Там на аккуратных грядках растут овощи: «Каждый должен возделывать свой сад, как делали наши предки и как советовал умная голова Вольтер в своем “Кандиде”». В этом убежден отец, потому год за годом здесь появляются чахлые посадки разных культур. Они не вяжутся с грифонами, колоннами и резными балкончиками, не вяжутся с прошлым отца — лихого сорокадевятника<sup>1</sup> по молодости, успешного судостроителя в войну, не менее успешного судовладельца ныне. К тому же грядки не дружат то ли с жарой, то ли с ветрами, налетающими с гор. А может, наш садовник не способен вырастить ничего, кроме цветов и цитрусов, — так считает Джейн.

– Скучаешь, яблочко?

Голос находит меня там, откуда и началось блуждание, — на качелях. Яблоки не растут в нашем саду, да и в окрестностях проще найти апельсины: их высаживают все кому не лень, за последние десять лет они вошли в повальную моду.

---

<sup>1</sup> Сорокадевятники (от «1849 год») — старатели первой волны калифорнийской «золотой лихорадки». — *Здесь и далее примечания автора.*

Но почему-то у родителей прижилось именно такое прозвище; мы с Джейн — их «яблочки». И я привычно улыбаюсь, когда мама опускается на качели рядом.

– Нет, ничего...

Она убирает за ухо прядь волос, каштановых и прямых, как у меня. Расправляет складки на голубом платье, пропускавая меж пальцами кружевную оборку. У мамы сонный вид, как и у многих в послеполуденное время. Как и у многих в безлюдной долине, лишь местами присыпанной особняками. Как и у многих в богом забытом краю под снежными боками гор.

– Как думаешь, Эмма, Джейн вернется к чаю?

– Может, и к ужину. Скорее к ужину.

– Я велела приготовить цыпленка в меду.

– Звучит здорово.

Беседа такая же сонная, как мамино лицо и, наверное, как мое. В последний год мне совсем невыносимы тихие часы, особенно в «четверги Джейн». Время, когда все могли скрасить сказки садовника или игры с детьми кухарки, не вернуть: садовник растит собственных внуков, а кухаркины дети подались на дальний прииск и там, не найдя счастья, по слухам, стали грабить поезда. Я выросла. Безнадежно.

– Кстати, новые соседи поселились к западу. Надо бы нанести визит. Генри говорит, у них двое сыновей.

Это брошено небрежно, но, не поднимая головы, я знаю: за мной наблюдают. Лицо мамы уже не сонное, возможно, и

окрасилось румянцем. Она всегда находит, чем себя занять, чтобы не спятить в нашей глуши, деятельно строит планы, неважно, какие: по посадке «вольтеровских» овощей, по благоустройству террасы, по пошиву платьев. Ныне она погрузилась в исполнение нового, поистине наполеоновского плана. Ей пора выдавать замуж дочерей.

– Да, я была бы рада выехать хоть куда-то, — осторожно соглашаюсь я.

– Ты увядаешь, яблочко. Тебе совсем скучно. Не пора ли заказать тебе из города книг?

– Надоели книги.

Я говорю резковато. Конечно, книги не могут надоесть: они успокаивают душу и проясняют разум, а иногда дарят интересные путешествия. Но если их считают единственным лекарством от твоей хандры, пичкают тебя ими, как микстурой, даже они начинают вызывать тошноту. Я вздыхаю, и мама нежно берет меня за руку.

– Значит, будем радоваться предстоящему знакомству. Андерсены из Нью-Йорка, занимаются железными дорогами. Наверняка им есть о чем рассказать провинциалам вроде нас.

И есть, по какому поводу задрать нос. *Нью-Йорк!* Я видела выходцев из краев, где поезд встретить легче, чем лису. В большинстве своем подобные гости не скрывают снисходительной скуки, знакомясь с такими, как мы: судостроителями, лесопромышленниками, снабженцами, владельцами до-

бывающих предприятий, пусть даже золотых приисков. Золото прибавляет нам блессток, но не блеска. Приезжие важничают, как могут, перед всеми, благодаря кому об Оровилле говорят, что он процветает. Процветает, бесспорно, — как цветок, вылезший на свет божий из горки руды. Да и сколько ему осталось процветать, когда, по слухам, жилы скудеют?

— Эмма, а может, тебе тоже нужны «свои» дни? Мы уже спрашивали...

Видимо, мама чувствует некоторое раскаяние, глядя сейчас на меня. В последний раз вопрос: «Детка, а ты не хочешь взять среды или, например, понедельник?» задавался, когда Джейн только начала сбегать на лесные прогулки. Я сказала «нет»; я и не могла сказать ничего другого, но обида гложет до сих пор.

— И я тоже уже спрашивала, могу ли в «свои дни» уезжать с отцом. Мы ответили друг другу на все вопросы, разве нет? Или вы...

В мой голос пробилась надежда. Конечно, маму это пугает, и она спешит оборвать меня даже раньше, чем я произнесу «передумали»:

— Ох, Эмма. Я и не полагала, что ты по-прежнему хочешь, чтобы тебя застрелил первый забулдыга, продавший пару самородков за виски.

— Если мне встретится забулдыга, у него найдется цель поинтереснее. Другой забулдыга или кто-то, у кого есть еще самородки.

– Яблочко, послушай, даже твой отец...

– Хорошо. Просто не будем об этом.

«Свои дни». Единственное, на что они могли бы мне пригодиться, — поездки в город, пусть Оровилл и не самое располагающее место. Речной порт, через который идут суда старателей, где останавливаются для погрузок, починок и попок. Оровилл — родной дом для людей двух пошибов: рабочих и лихих. Законники, третья местная «каста», тоже неплохо себя чувствуют, но слишком малочисленны, чтобы сделать город полностью безопасным для меня, мамы и прочих, кто не носит оружия, или для таких, как отец: кто носит, но в мирные годы так посадил зрение бумагами, что едва ли попадет в дерево с пять шагов. И все же я люблю Оровилл: неуклюжие пароходики, узкие улицы, гомон на десятке языков от английского до китайского. Люблю блестящие значки-звезды рейнджеров, люблю приглушенную музыку салунов. К тому же в Оровилле, при всех «опасностях, губительных для девушки», есть привлекательные места, к примеру, книжная лавка, магазин европейских товаров, кондитерская. Ох, если бы мы располагали хоть одним слугой, способным защитить меня в случае *неизвестно чего!* Но пока...

– Не грусти. Уверена, будущий супруг сможет возить тебя в город или даже будет там жить. А может, он вовсе будет жить, где ты и не мечтаешь? Нью-Йорк или...

...Или что угодно, только бы я дала себя окольцевать. Возможность вырваться — немногое, чем меня можно завлечь

замуж, так считает мама, и, в общем-то, она права. Я устала от разговоров об этом пока еще несуществующем звере, своем «будущем супруге». Я даже воображаю его как белого оленя с вызолоченными рогами, или толстого дракона, или покрытое шерстью создание с гор. Не слишком романтично. В книгах все по-другому.

– Да, конечно...

Мама вдруг подмигивает; у нее становится хитрый вид, как у ребенка, уверенного, что конфету он прячет в кулаке совсем незаметно.

– Кстати, в этом ты счастливее Джейн. Замужней женщине сам Бог велел ездить развеиваться в город, а вот гулять по каким-то чащобищам...

Тут можно только махнуть рукой.

– Ты же знаешь, у нас нет таких уж *чащобищ*. А если и есть, они слишком высоко, Джейн туда не ходит.

– А куда она ходит, яблочко? Может, ты узнала?

У вас нет секретов, вы так дружны...

Рано или поздно мы всегда к этому возвращаемся: мама вот так заглядывает мне в лицо, тревожно ерзая. А я испытываю смутные угрызения совести, хотя причин для них нет и быть не может. Потому что, сколько бы мы ни шептались с Джейн, сколько бы ни читали дневники друг дружки, в каких бы страшных грехах друг другу ни признавались...

– Нет. Я давно за ней не увязываюсь.

Да. Я не знаю. Не знаю, зачем Джейн столько «четвергов»,

ведь она берет иногда все четыре за месяц. Не знаю, что можно делать в лесу несколько часов, а то и от рассвета до заката. И понятия не имею, почему иногда она возвращается с прогулок такая... чужая. Я долго боялась проговаривать это слово даже в мыслях; однажды оно все же прорвалось и теперь меня преследует. Каждый раз, когда я смотрю Джейн в глаза.

– Понимаешь, яблочко, вы совсем взрослые, скоро у вас будут свои дети. Вы, может, покинете наши места. Но этот лес...

Мама осторожно подбирает слова, как если бы ступала по льду. Опасается, что я передам все Джейн, но это не единственное. Мы похожи, даже больше, чем на первый взгляд, и недавно я осознала кое-что с беспощадной четкостью: мама не просто не понимает, что Джейн, наша милая Джейн, может искать в глуши древних елей и дубов. Мама тоже боится леса и не уверена, что это *обычная* глушь. Лес не дает ей покоя. Неспроста.

В тринадцать Джейн бегала туда тайно, потом получила законные дни. Нам уже восемнадцать, и сестра все еще уходит. Я увязывалась с ней не раз, но эти прогулки лишь сбивали меня с толку. Правда, что можно сделать в лесу? Устроить пикник, почитать, вздремнуть, помолиться. Тайно встретиться с возлюбленным или понаблюдать за белками. Еще можно поохотиться — в компании прочих детей «новой аристократии», как зовет соседей отец. Да, лес — по-своему

приятное место... если ты не одна. И если не ждешь опасности из-за каждого дерева, как, например, я.

Джейн бродит по тропам, кормит животных, плетет венки. Сидит в корнях какой-нибудь ели, прислонившись к стволу. Она делала это, когда мы ходили в лес вместе; делала, когда я кралась за ней тайно, делала, когда отец посылал следить за ней слуг. Ни разу она не встречалась с каким-нибудь таинственным юношей, вроде беглого каторжника, краснокожего или рейнджера. Не превращалась в лису, зайчонка, птицу или другое существо, как герои сказок. Не купалась нагишом в Двух Озерах. Не занималась вообще ничем, что могло бы показаться странным хоть немного. Джейн даже возвращается вовремя — свежая, раскрасневшаяся, усталая и, как правило, страшно голодная. Быстро уплетает ужин. Отец, с любопытством наблюдающий, отпускает что-нибудь вроде: «Молодая кровь. Приволье, это славно, взять хотя бы краснокожих красавиц и их здоровых детишек!». Хотя мы не застали здесь краснокожих, Джейн кивает и смеется, обещает, что ее дети будут ловчее и умнее любых индейцев. А потом мы идем в комнату, шепчемся до поздней ночи, и все становится как раньше. До следующего четверга.

– В конце концов, не все ли тебе равно? — мирно спрашиваю я.

Мы встречаемся глазами.

– А тебе? Все бы ничего, но в последнее время она приходила мрачнее тучи... замечала?

Замечала, как иначе? Пусть Джейн сразу начинала оживленно болтать, пусть она трепетно обнимала меня, пусть на следующий день мы веселились у кого-нибудь на балу или всей семьей ехали в Оровилл. Да. Джейн возвращалась из леса хмурой уже несколько раз. Хмурой и грязной, отвечая на все вопросы лаконичным «Спешила, упала».

– Может, ей надоедает?

– Не знаю, яблочко. У меня странное чувство...

– Какое?

Мама смотрит на носы мягких туфель и шевелит ими в траве, вспугивая большого жука. Она явно колеблется, поделиться ли тревогами со мной или с пастором, который просто посоветует молиться. Или с отцом, который ответит латинским афоризмом о том, как изменчива юность? Оба ответа ее не успокоят, а больше она не доверяет никому в этом мире. И, вздохнув, мама все же признается:

– Тревожное. Может, стоит за ней последить?

– Она уже замечала слезку. Помнишь, как она была возмущена?

– Значит, нужно попросить кого-то, кто ловчее. Кого-нибудь рейнджера?

Я фыркаю, представив этих ладных, довольно милых, но небритых и неопрятных мужчин в тяжелой обуви, крадущихся за Джейн так, что скрипят ветки и стаями вспархивают птицы. У оровиллских рейнджеров немало достоинств вроде отчаянной храбрости, зоркого глаза, твердой руки и (у

некоторых) даже воспитания. Но навыков слежки у них маловато, мне случалось наблюдать, как они ходят. Звон шпор, бряцанье оружия и зычный бас оповещают о прибытии законника задолго до того, как замаячит тень его шляпы.

– Ох, мама!

– Смеешься надо мной, яблочко? Вот погоди, будет у тебя дочь...

– Для твоих маленьких хитростей лучше подошел бы индеец.

Она сокрушенно вздыхает.

– Винсент не согласится, у него дел по горло, да и он слишком дружен с нашей чертовкой. К тому же вряд ли он за эти годы не забыл, как красться за дичью и...

– Ты говоришь с таким укором, будто сама умеешь красться за дичью.

Мама не без доли самолюбования вздергивает подбородок, где видна маленькая ямочка.

– Может, стоит попробовать? Я не подозреваю о многих своих талантах. А вообще иногда мне кажется, что Генри с его восторгом по поводу всех без разбору чужих культур прав. Жаль, в округе индейцев совсем не осталось... Ой, смотри, она!

Последнее мама произносит, поднимаясь, шурша платьем, торопливо одергивая его. Глядит в сторону калитки, увитой вьюном. В проеме стоит Джейн, и она не одна: джентльмен в сером сюртуке, совсем молодой и немного за-

пыхавшийся, переминается с ноги на ногу рядом.

– Добрый вечер. Мама, Эмма... это Сэм Андерсен, наш новый сосед. Я случайно встретила его по дороге, и он настоял на том, чтобы меня проводить.

Джейн улыбается; ее щеки оживляет призрачный румянец. Она то и дело поглядывает на своего спутника, в иссиня-черных кудрях которого блестит заходящее солнце.

Джейн остается жить около трех недель.

## *Здесь*

Стрела пылает от наконечника до оперения. Хочется выдрать ее и бросить подальше, но, может, этого и ждут. А может, дым уже отравляет меня, лишает способности двигаться и думать? Я и вправду не могу ее вернуть.

*Они пришли.* Тени за деревьями; я различаю зеленые узорчатые маски. Маски сливаются с растительностью, кроме них, из черноты одежд не выбивается ничего. Даже самострелы из чего-то черного. Дерево? Сталь? Снова обсидиан? Тени безмолвны. Они приглядываются ко мне, еще немного — и я различу блеск глаз за прорезями. Глаз ли? Есть что-то нечеловеческое в их движениях: не трещат ветви, точно стопы вовсе не касаются земли. Или сердце заглушает смертную поступь?

*Они* собираются вместе, теперь говорят. Четверо, высокие и поджарые, не понять: мужчины, женщины? Поглядывают

на меня, и разговор становится оживленнее, переходит в... спор? Похоже. Одна тень качает головой, но другая делает шаг. Ее удерживают, начинают увещевать. Тень остается на месте; я не слышу, что ей сказали, но что-то в быстрых жестах вдруг будит догадку. Нелепую, невозможную, но...

Они боятся? Кажется, они чего-то боятся или... кого-то?

Тени бурно спорят, но все равно замечают опасность раньше, чем я, ловящая каждое движение и звук. *Треск-треск. Смерть-смерть.* Одна тень даже успевает выстрелить, правда, это уже не может ей помочь. Рыжее животное, вынырнув из чащи, прыгает молниеносно; под лапами хрустят кости сразу двоих. Над деревьями несется клич. Третья тень шарахается к деревьям; за ней кто-то, сорвавшийся со спины зверя, — низкорослый, одетый в лохмотья. У этого кого-то в зубах нож. Росчерком сверкает лезвие, и незнакомец исчезает в зарослях.

Пара мгновений — крик. От того, как, захлебнувшись, он переходит в бульканье, пробирает озноб. Впрочем, не сильнее, чем от того, как животное, из груди которого торчат стрелы, придавливает последнюю тень к земле, наваливается всем весом. Руки иступленно вцепляются в шерсть, соскальзывают. Правая, дотянувшись до ножа, наносит удар, но тщетно. Зверь душит осознанно, терпеливо ждет, пока жертва обмякнет, после чего сразу выпускает ее. Падает нож. Голова запрокидывается, и я вижу разметавшиеся пряди длинных волос. Определенно, человек, определенно,

мертв. Зверь обнюхивает разрисованную маску, облизывается в задумчивости, но в конце концов просто переступает труп.

– Хороший... хороший...

Повторяю заклинанием, стараюсь не шевелиться и даже не дрожать. Наверняка зверь чует мой ужас, а задушить меня будет гораздо проще, чем вооруженного человека в черном.

– Не подходи... ладно?

Лучше было молчать. Зверь, прежде обнюхивавший траву, вскидывается. Теперь он заинтересованно уставился прямо на меня.

Длинный, гибкий, с лоснящейся шерстью и острой мордой. Я видела таких в разъездном зверинце; там подобные, но размером с кошку для потехи убивали змей, почти так же придушивая или перекусывая горло. Тогда я восхищалась их хищным изяществом больше, чем изяществом пантеры из другой клетки. Теперь я сжимаюсь в комок.

Зверь идет — так же бесшумно, как шли тени; не хрустит ни одна ветка под короткими лапами. Зверь подергивает влажным носом, блестят черные глаза, мотается туда-сюда хвост. Зверь издает свистящие, а может, щелкающие звуки и щерит зубы. Он уже близко. Стрелы, торчащие из груди и окутанные огнем, явно его не беспокоят. Он подходит вплотную и неторопливо садится. Склоняет голову, снова щелкает или ворчит, почесывается задней ногой. Он кажется безобидным, и все же я подаюсь назад и делаю неглубокий

вздых.

Зверь огромен, больше лошади. Стрелы торчат не из груди, а из доспеха, эту грудь прикрывающего. Пластина обита свалявшимся мехом такого же оттенка, возможно, чтобы сбить врагов с толку.

Да, зверь огромен. На нем седло и броня. Он убил трех человек. Но это всего лишь очень большой мангуст.

## 2

# Дом и убежище

### *По-прежнему здесь*

Зверь обнюхивает меня, я не сопротивляюсь. Сейчас, когда ясно, что на меня не нападут, больше тревожит не любопытная морда с колючими усами, а стрелы: та, которая все еще торчит в дереве, и те, которые вонзились в мангуста. Золотые символы на камне о чем-то напоминают, это уже мелькало в моей голове до появления животного и его... *всадника*? Кстати, где он?

Прислушиваюсь. Шуршит листва, на развесистые ветви возвращаются, всплескивая крыльями, птицы, отдаленно журчит родник. Других звуков нет. Где маленькое существо с ножом в зубах?..

Зверь поводит головой в сторону, дергаются торчащие уши. Затем он задирает морду, разевает розовую пасть и протяжно визжит. Ему тревожно, а может, больно? Я присматриваюсь к нему внимательнее.

– Ты... как?

Скорее всего, он не понимает; меня просто обманула рассудочность, с какой он задушил человека. А что если все

произошедшее — вообще плод болезни моего воспаленного рассудка? У меня были причины сойти с ума. Но, видя, что зверь снова в меня вглядывается, я дружелюбно предлагаю:

— Давай я вытащу твои стрелы... дружок?

Мангуст спокоен. Я, перебарывая страх, тянусь к пламени вокруг первой стрелы. Она не обуглилась, это убеждает меня, что от прикосновения не будет больно, совсем не будет. Я готова сомкнуть пальцы и хорошенько потянуть, когда...

— Стой! Дуреха!

Вжимаюсь в расщелину меж корнями, торопливо опускаю руку. Я успокоилась рано: я же не в безопасности и все еще не одна. Всадник, впрочем, теперь я убеждена, что всадница, вылез из зарослей. Девушка движется неторопливо, вразвалку, совсем не так, как преследовала врага. На ходу она распахивает по карманам грубой накидки какие-то предметы, а еще что-то тащит под мышкой. Приглядываюсь. Это колчан и самострел.

— С ума сошла? — кричит она снова. — Сторишь до угольчиков!

Она низенькая, не выше десятилетнего ребенка. Широкая и плотная, негритянского типа лицо, но не это привлекает мое внимание. Куда больше — зеленые волосы колечками, длинные обвислые уши и рожки, растущие из верхней части открытого лба. Девушка — если можно назвать *это* девушкой — густо намазала веки зеленым, в зеленый выкрашены пухлые губы.

Незнакомка деловито направляется не ко мне, а к трупам, переворачивает ближний на спину небрежным пинком. Присаживается, начинает быстро обшаривать. Раз — сыпает в поясную сумку горсть сухих ягод. Два — находит нож. Три — довольно щелкает языком, оглядывая пару каких-то камешков. Чиркает, высекая искру, прячет и прищелкивает языком повторно. Поправляет грязную обмотку на жилистой ноге и продолжает мародерствовать, как ни в чем не бывало. Ей-богу... слушая рассказы тех, кто воевал с Конфедерацией, я всегда представляла, как южане обирали наших убитых солдат столь же нагло, раздевая почти донага. Да где же я?..

– Что смотришь, Жанна? Помоги!

От окрика я вздрагиваю. Чужим именем меня называют во второй раз, первой его произнесла тварь, затащившая меня сюда. И во второй раз «Жанна» звучит с такой неколебимой уверенностью, что в горле ком. Вот только бежать уже некуда.

– Я...

Девушка, обшаривая второй труп, поднимает черные глаза; я опускаю свои.

– А я слышала, ты ничего не боишься. Самим *вождем* командуешь.

Звучит разочарованно, и, пусть не понимая, какое отношение разочарование имеет ко мне, я теряюсь. Оцепенела, не думаю даже о том, что *теней* вокруг может бродить больше, чем четыре, и лучше скорее убраться. Наконец мне уда-

ется, пересилив себя, выдавить:

– Скажите, пожалуйста, мисс, как мне попасть домой?

Я ни на что не надеюсь, поэтому с трудом сдерживаю радостный возглас, когда незнакомка отвечает вполне мирно:

– Да я отведу. И чем быстрее мы управимся...

Она осекается, еще раз раздраженно на меня зыркнув: видимо, я не поняла какой-то намек. Снова поджимает губы и безнадежно машет рукой.

– Ладно, похоже, ты умеешь только красоваться. Ну, хоть это у тебя выходит славно.

За следующую минуту она обшаривает последнее тело. Забирает какую-то склянку, кожаный мешочек, три перышка: красное, белое и желтое. Потом она сует за пояс очередной чужой нож и поднимает самострел.

Их у нее уже четыре, и с ними она идет мне навстречу.

– Шику!

Незнакомка иначе, чем прежде, более громко цокает языком. Рыжий зверь разворачивается, она оглядывает его и морщит плоский курносый нос.

– Дурень обстрелянный.

– Как вас зовут, мисс?

Я спрашиваю тихо, не особенно рассчитывая, что ответом меня удостоят. Я не нравлюсь девушке, это видно, впрочем, не скажу, что она нравится мне, но куда деть манеры? С человеком, спасшим тебе жизнь, так или иначе лучше познакомиться. Разве не так принято у...

– Цьяши из рода Баобаба. — Она бросает это, уже запустив руку в один из своих бесчисленных карманов. — Цьяши Гибкая Лоза. И брось эти ваши «мисс». Глупость.

Первая мысль: девушка похожа скорее на крепкий бочонок, чем на гибкую лозу. Вторая: за такое замечание она перережет мне горло. Третья: «мисс» — это не про Цьяши. Я просто киваю, собираюсь тоже представиться, но не успеваю.

– Зачем Исчезающему Рыцарю мое имя? — цедит девушка сквозь зубы.

Исчезающий Рыцарь?

– Шик, стой спокойно!

Она повышает на мангуста голос. Вытряхивает из кожного мешочка на ладонь немного синего порошка и посыпает горящие стрелы. Пламя гаснет, меркнут цепочки символов на черном камне. Цьяши небрежным движением выдерживает стрелы, придирчиво оглядывает, одну даже пробует на зуб, после чего запикивает в колчан, буркнув: «Сгодятся».

Возясь с мангустом, она забыла о странном вопросе, по крайней мере, не повторяет его, когда, с усилием встав, я все же подхожу. Девушка молча вручает мне два колчана, которые я...

– Растяпа!

Они тяжелые, примерно как мешки с продуктами, которые привозят из Оровилла. Я роняю их мгновенно, ощутив, как сводит мышцы рук. Закусываю губу, опускаюсь, чтобы все подобрать, но Цьяши делает это куда проворнее.

– Ладно, все с тобой понятно... Шику, вниз.

Мангуст послушно пригибается; Цьяши деловито распикирует по креплениям на седле свою добычу. Я вспоминаю: она пронесла все колчаны на себе через поляну, насколько же она сильная? Так взмокла... то и дело сдувает со лба волосы, но в целом не кажется уставшей.

– Надо ехать. Влезть-то можешь?

Она уже вскочила зверю на спину. Красноречиво шлепает по месту сзади себя, затем подает руку. Я редко катаюсь на лошади, что говорить о мангусте... но я залезаю. Седло подо мной твердое как камень, а может, камень и есть.

– Домой, Шику.

Мангуст не замечает груза: он перемещается гибкими скачками, столь же стремительно, как двигался налегке. Я так же не слышу треска под его лапами. Всадница не направляет его, он наверняка прекрасно знает, где дом. Вопрос только... мой ли?

– Куда ты меня везешь?

– Не слышала? — Цьяши нехотя оборачивается. — Домой. Тебя обыскались.

Заросли тянутся бесконечной полосой, вверху — в прорезях листвы — клочьями мелькает низкое небо. Может, мне чудится, но оно, затянутое облаками, имеет странный зеленоватый оттенок. Нет. Это определенно не мой дом.

– Откуда ты меня знаешь? — звучит в спину: Цьяши потеряла ко мне интерес, смотрит вперед.

— Да кто тебя не знает? — пренебрежительно выплевывает она. — Хотела бы я посмотреть на такого дурака.

Видишь? Даже мне тебя навязали.

Смысл слов понятен мне не сразу, потому что все это время я цеплялась за нее мертвой хваткой, подпрыгивая как мешок и боясь упасть. Я держалась, я зажмуривалась, я сжимала коленями скользкое седло, в конце концов, я молилась. Мне было, чем себя занять. Но теперь, когда мы немного замедлились, я распрямляюсь и вижу: на серо-коричневом одеянии Цьяши Гибкой Лозы, на лопатках, что-то вышито бело-зелеными нитками. Женское лицо, обрамленное развевающимися волосами.

И хотя черты упрощены, я узнаю его безошибочно.

Это мое лицо.

Мир вращается. Незнакомое небо все дальше.

## *Там*

— Старшего сына я назвала Марко. Люблю все итальянское, а Джером потворствует моим мелким страстям.

По столовой разносится звонкий смех.

Дом Андерсенов, пусть немного запущенный, уютен. Все сдержанно и добротно: никаких буфетов до потолка, никаких канделябров или стульев, к спинкам которых страшно прислониться из-за великолепной обшивки. Светильники — ажурные бра — не горят, хватает солнца из огромных окон.

Скромная посуда на столе: пузатый графин с прохладным чаем, белые без позолоты тарелки, бесхитростные приборы. Здесь свободно, свободнее, чем дома. И мне очень, очень нравятся наши обаятельные соседи.

Флора Андерсен вправду похожа на итальянку: черноволоса и не следует моде, требующей избегать загара. Ее кожа смуглая, но ухоженная, свежая настолько, что моя мать требует поделиться тайной такой красоты. Глаза миссис Андерсен карие и беспокойные: перебегают по лицам, обращаются то и дело к окнам. Восторженная непосредственная особа; я поняла это, еще увидев море романов на стеллажах в гостиной. Нас с хозяйкой дома разделяют два десятилетия, но читаем мы одно и то же.

Ее рыжий пышноусый муж Джером Андерсен — человек иного склада. Он мог бы быть рейнджером: плечистый, жилистый и так же не уделяет внимания туалету. Одежда помята, подбородок небрит. Расслабился в провинции? А может, в Нью-Йорке не все застегиваются на каждую пуговицу? Так или иначе, Андерсен не напоминает сейчас лощеного делового горожанина: вальяжно расселся, ест с аппетитом, а серые глаза вспыхивают нежностью каждый раз, как супруга открывает рот, даже если щебечет о пустяках.

— На втором я уже настоял, — разносится его бас. — Политически меткое имя.

Андерсен подмигивает нам с Джейн, оглаживает усы. Говорит он быстро, такие же быстрые жесты, и мне нравится,

как широко он улыбается. Сын не унаследовал ни рыжины, ни широких плеч, но улыбку все же взял. И сейчас она адресована Джейн.

— Да, когда раздавали имена, я опоздал, чтобы стать итальянцем.

— Не жалеете об этом, — проникновенно утешает она. — Италия скоро утонет.

— Потише, мисс Бернфилд, это расстроит маму.

Они пересмеиваются и торопливо, как нашалившие дети, принимают скромный вид.

Сэмюэль не прав: может, он вовсе и не опоздал. Волосы у него черные и непослушные, как у матери, он тоже смуглый, так что от итальянцев его отличают только глаза — отцовские, серые, но необычного миндалевидного разреза. Красивый... я в который раз ловлю себя на том, что люблюсь им и прислушиваюсь к голосу, и в который раз одергиваю себя.

— Так что же этот загадочный Марко? — с не обманывающей меня невинностью уточняет мама. — Не приедет?

— Он занимается дорогами на побережье, вряд ли почтит присутствием эти места. Он, знаете ли, не жалуется провинцию.

— Что же занесло сюда вас?

Вопрос задает отец. Кажется, не стоило: старший Андерсен мрачнеет, переглянувшись с сыном. Я не успеваю понять, что вдруг мелькает на их лицах, но ничего хорошего, точно ничего, о чем они расскажут малознакомым людям.

– Мы... — не заметив заминки, начинает хозяйка, но ее перебивают:

– Думаем о магистрали через ваши края. Перспективное направление. Хотели бы тут осмотреться и...

– Какая дерзость! — Несмотря на громкость возгласа, тон отца шуточный. Так же шуточно он потрясает кулаком. — Вы разорите судоходцев, меня в том числе! Конечно, ваши железные чудовища быстрее, но нет, сэр, у нас здесь все по старинке. Река — наша мать, жена, жизнь!

Сэмюель, выслушав горячую речь, отвечает мягким смешком. Он тронут; это чувствуется по тому, как он возражает — деликатно, без снисходительного раздражения:

– Не тревожьтесь, это не будет параллельная реке ветка. Мы хотим связать Оровилл с более заселенными областями. Сюда ведь едут люди, многие хотят осваивать горные массивы.

– Да и согласитесь, — поддерживает его Джером Андерсен. — Если случается сильно заболеть, если разливается Фетер или происходит что еще, быстро вы получаете помощь?

Отец оценивающе их обоих оглядывает и наконец кивает, возможно, вспомнив эпидемию желудочной инфекции, захлестнувшую Оровилл прошлой весной. Тогда мы успели похоронить многих, прежде чем власти штата прислали дополнительные лекарства и медиков.

– Да, с этим беда. Но имейте в виду, я буду следить, где

вы проложите рельсы!

Мужчины смеются, мы их поддерживаем. Заметив, как переглядываются Джейн и Сэм, я давлюсь смешком и опускаю глаза. В моей тарелке — нежная грудка индейки, политая удивительным базиликовым соусом, и несколько золотистых картофелин. Но я не хочу есть.

...В день, когда Джейн встретила Сэмюэля впервые, он не принял предложение остаться на ужин. Возможно, действительно спешил домой, возможно, его просто поразило нелепое уродство нашего особняка, что нисколько бы меня не удивило. Так или иначе, представившись и перекинувшись парой фраз, он отбыл, но уже на следующее утро мы получили от Андерсенов приглашение на обед. Сэм привез его сам. Я не сомневалась, что, даже путешествуя налегке, Андерсены взяли пару слуг, которым могли это поручить. Но понять, почему прибыл знакомый юноша, не составило особого труда.

Мама, конечно, отправила встречать его Джейн. Сестра, замерев в тени крыльца, вытолкнула вперед меня. Схватила за запястье, положила подбородок на плечо и прошептала:

– Я хочу *проверить*. Сходи, Эмма, сходи!

У нее блестели глаза, и она была так взбудоражена, что я уступила.

Там, у калитки, стоял серый в яблоках конь. Юноша, державший его под уздцы, приветливо улыбнулся и поклонился, тут же отведя со лба черную прядь.

– Мое почтение, мисс Бернфилд. Доброе утро.

– Доброе утро, мистер Андерсен. Рада видеть вас вновь так скоро.

Он снова был в сером, белела только рубашка. Снова имел опрятный, изысканный вид. Я подала руку, он ее поцеловал: не удержал, не отпустил сладкой пошлости из тех, на какие щедры местные джентльмены любых лет. Один короткий поцелуй, одно пожатие прохладных пальцев и быстрый взгляд, который я перехватила, глупо вспыхнув. Следовало потупиться, но я не опустила голову. Не знаю, что заставляло меня так его разглядывать, скорее всего, то, насколько *нездесьним* он был, весь, от волос необычного оттенка до остроносых сапог. Казалось, очарования не убавили бы даже шляпа, револьвер и популярный у нас жилет коричневой кожи. И даже если бы вдруг Андерсен вздумал погонять из одного угла рта в другой зубочистку.

Сэм сообщил, что его семья будет рада свести знакомство с нашей. Я ответила любезностью, как подобало, и хотела пригласить его в дом, когда он вдруг тихо спросил:

– А Джейн здесь? Я могу ее увидеть? Или она в лесу?

– Она ходит туда только в некоторые четверги.

Я ответила раньше, чем кое-что осознала. Тут же я вскинулась и, скрывая одновременно улыбку и необъяснимую досаду, уточнила:

– Как вы угадали, что я — не она?

– Вы разные, — просто ответил он и ничего не пояснил.

— К тому же, — я увидела усмешку, по-детски широкую и открытую, — она у вас за спиной. Здравствуйте, мисс Бернфилд.

— Я тоже всегда это говорила, Сэмюель. И почему нас вечно путают...

Не знаю, как Джейн успела подкрасться по садовой дорожке, но знаю, почему, гордо выпрямившись со мной рядом, сестра так просияла. Я поняла, что именно она хотела проверить, и поняла: Сэм справился с испытанием. Оно показалось нелепым, но я не сказала этого ни тогда, ни позже. Мы поговорили еще немного — в основном, Джейн и Сэм. Потом мама напоила его прохладным чаем, мы договорились о дружеском обеде и расстались.

...И вот, тот самый обед в разгаре. Я мечтаю о его окончании.

— Одно я знаю точно. — Флора Андерсен улыбается почему-то именно мне. — Эти края очаровательны. Непременно буду ходить рисовать. Сэм сказал, юная леди хорошо знает лес...

Она продолжает смотреть на меня. Все уже поняли, какое недоразумение грядет. Сэм тихо кашляет в кулак; кашель подхватывает и мама, а вот отец делает вид, что полностью поглощен наливанием в стакан чая.

— Моя сестра. — Приходится разомкнуть губы. — Мистер Андерсен говорил о моей сестре.

Все, что он говорил, могло быть о моей сестре и только о

моей сестре.

Тон звучит ровно, все лишь кивают. Конечно, кроме Джейн, тут же устремившей на меня пытливым взгляд. «Что случилось?» Она не спрашивает вслух: нет необходимости, мы и так понимаем друг друга. Я слабо качаю головой и, к счастью, могу промолчать: отец подхватил беседу, так, будто любовь Джейн к лесу — его личная заслуга.

– Уверен, даже будь здесь краснокожие, моя девочка дала бы им фору в следопытстве. Она любит наши дебри и покажет их вам, миссис Андерсен. В одну из своих следующих...

– Покажу непременно. Но никак не в четверг.

Напряженно сузились глаза, поджалась губы, и в вежливом — слишком вежливом ответе Джейн тоже что-то настораживает. Теперь я немо задаю тот же вопрос: «Что случилось?» Ожидаемо: она качает головой в ответ и улыбается, мягко прибавив:

– Поедемте прямо завтра, если хотите, миссис Андерсен.

– Может быть, и я порисую? — Сэм живо поворачивается к матери, а она изящно прикрывает рот узкой ладонью и молчит. — Что ты смеешься?

– Ты же не умеешь рисовать, мое сокровище. Ты даже в детстве предпочитал этому занятию игры с мячом.

Он смущен, но скрывает это, быстро отпивая из бокала.

– Взрослея, люди меняются. Да и потом, ничто не успокаивает душу так, как природа.

– И красота, — невинно уточняет Флора Андерсен.

— А это не одно и то же?

— О, слишком философский вопрос для застольной беседы. Давай-ка обсудим его попозже.

Живой взгляд хозяйки дома изучает Джейн. Несомненно, там дружелюбное восхищение, тем более, Джейн с подвязанными волосами и жемчужными клипсами сегодня особенно хороша. Но я вижу кое-что еще, полуприкрытое. Уверенность коллекционера, который уже увидел в тележке старьевщика заинтересовавшую вещь. Осталось узнать цену.

— Кстати, раз уж упомянули краснокожих! — Джером Андерсен нарушает повисшую тишину. — Не расскажете новичкам *жуткую историю про индейцев*? Я слышал краем уха, но все искал, кого бы спросить...

— О! — Отец буквально расцветает и торопливо смахивает остатки соуса с усов. — Вы знали, к кому обратиться! Хотя на самом деле история короткая, да и не такая жуткая, если, конечно, за всем не стоит местный сброд... в чем, сомневаюсь, очень сомневаюсь!

Обмениваюсь улыбками с Джейн. Мы привыкли: отец, до смерти любящий ораторствовать, в совершенстве овладел этим искусством, в частности, искусством красивых пауз. Впрочем, мама не дает затянуть, требуя: «Постарайся справиться до кофе, дорогой!», и он покоряется. Андерсены ждут — все трое, одинаковое любопытство горит в глазах. Отец начинает. В одном он прав: история короткая. Намного короче большинства похожих историй.

*Яна-яхи* жили в лесу — не у города, а ближе к нам. Поселение, занимавшее холм и небольшую низину, спускалось к реке. Можно было наблюдать, как краснокожие ловят рыбу или стирают, как купаются дети; каждое утро — видеть дым костров, а в иные вечера — слышать ритуальное пение. Старожилы говорят: это было необременительное, славное соседство.

Индейцев возглавлял хороший вождь, для которого мы, белые, были не чужаками, а «странными братьями», потому племя соблюдало крепкий мир. Это удивительно, и именно это делает нашу историю, едва ли не первую, которой пичкают приезжих, такой таинственной. Ведь до нас доходило и до сих пор доходит много ужасных баек со всех Штатов: о том, как индейцы, нападая «внезапной бурей», вырезали целые города, или как «доблестные сыны Америки» дотла сжигали стоянки «дикарей, опрометчиво выкопавших топоры». Байки отличаются лишь числом убитых с обеих сторон. Они привычны, настолько, что без них чужаку трудно представить нашу славную страну. Столкновения случались и на реке; в предгорьях Сьерра-Невада тоже жили краснокожие. Им было сложно, многочисленные золотоискатели выживали их дальше и дальше вглубь каньонов. Выживали зачастую бесцеремонно, отнимая уголья, не оставляя выбора. Индейцы долго сопротивлялись, прежде чем уйти, и то, как яростно они сопротивлялись, мутило Фетер кровью. Взрослые помнят это, а дети оживляют подобные сценки в улич-

ных играх.

Наше племя, в противоположность соседям, жило тихо, замкнуто, даже слишком; так, словно вокруг не существовало никого в помине. Они не злились, если кто-то забредал в их владения, могли, не тронув, проводить заплутавшего до города, но сами не приближались. Лишь изредка женщины и дети яна обменивали на что-нибудь свои красивые тканые одеяния, снадобья, ожерелья из речных раковин или искусно вырезанные игрушки. Две таких — енот и лисенок — есть у нас с Джейн; мама отдала за них свой гребень, когда еще носила нас под сердцем, в тот самый год, после которого...

Никто не знает, как *это* назвать. Не знает мэр, не знают рейнджеры, шериф и священники. Поэтому размыто: год, когда все произошло.

— Я хорошо помню! — гудит тем временем отец. Он от души отпил виски, готовится к кульминации рассказа. — Я был среди тех, кто пошел с рейнджерами и шерифом, еще Стариком Редфоллом. Знаете, мы обычно не лезли, все-таки они дикари. Не трогают нас, мы — их... но *это* насторожило. Ну, что с их холма два дня не поднимался дым. А ведь они каждое утро готовили на кострах, мы привыкли. А тут и их женщины не выходили стирать, ребяташки не игрались в воде. Тогда кто-то подумал: может, какая болезнь и они все там лежат вповалку? Опять же, не скажу, что до этого кому-то было бы дело, но ветры и вода у нас одни, и черт знает, не перекинется ли зараза? Тем более в тот же год

в Сакраменто была жуткая холера... Мы поболтали, взяли врача, рейнджеров прихватили и пошли. А там...

Когда в детстве отец рассказывал это на ночь, мы с Джейн жались друг к другу. Сейчас вроде уже не должно быть страшно, но...

– Пустота — все, что мы нашли. Будто никто там и не живет давно: всюду мох и листва, кострища завалены, нет тотемов. Мы тогда подумали, а ну как резня? Кто из городских озлился? Или вовсе прислали карателей? Да вот только молодчики бы незамеченными не прошли, тем более конники, тем более с ружьями. Кто-то бы услышал хоть выстрел, крик, иные рыбаки вовсе ночуют на берегу. Но никто, ничего, мы потом расспрашивали соседей и горожан.

– А поначалу? — Теперь и Джером Андерсен подлил себе в стакан, нетерпеливо постукивает пальцами по столу.

– Выясняли сами, не подъезжал ли кто. Дикари в следах разбирались получше, но даже мы поняли: не было отрядов. Ни подков, ни погрома, ни крови. То есть кровь была, конечно, но малость, в паре мест, скорее всего, не человечья. Они ведь и жертвы приносили, и питались, охотились. Нет, определенно, никто их не резал, да и пошел бы хоть слух о таком подвиге, в городе это любят. Просто исчезли наши индейцы. Как в воду канули.

Я знаю рассказ наизусть и поэтому, отвлекшись, успеваю заметить: с Джейн снова что-то не так. Она побледнела, жала ножку бокала. Дикое выражение мелькает в глазах, кажет-

ся даже, сейчас она упадет в обморок. Спустя пару мгновений лицо проясняется. Джейн что-то шепотом говорит Сэму, наклонив голову. Тот отвечает рассеянной улыбкой. Джейн выпрямляется и отпивает воды; она все еще бледна, но спокойна. И в этот раз она делает вид, что вовсе не заметила мой встревоженный вопрошающий взгляд.

— Неужели совсем ничего не нашли? — уточняет Флора Андерсен, дождавшись паузы. — А вещи? Вещи были?

— Какие вещи у дикарей, любовь моя? — слабо усмехается ее муж, но мой отец с видом знатока качает головой.

— Не заблуждайтесь, городская душа. Краснокожие живут налегке, но кое-что имеют. Циновки, и метелки, и у некоторых что-то вроде скамеечек для сна. Опять же, они плели люльки для младенцев, ткали, а какую посуду делали, тоже плетеную! Многое из этого было на месте, если какие-то предметы и пропали, мы знать не могли. Однако... — он опять хочет театрально помедлить, но мама осаживает его сухим кашлем, — кое-что мы нашли.

Точнее, кое-кого.

— Позвольте-позвольте. — Джером Андерсен привстает с места и тут же опускается назад. — Так значит, правда, что ваш шериф...

— А вы еще не убедились?

— Мне не случилось его видеть. Но, откровенно говоря, не терпится!

— Приезжайте к нам в субботу, мы устраиваем бал, и он

непрерывно будет! — встревает мама и посылает улыбку Сэму. — Все вместе! Джейн и Эмма будут очень...

— Да дай же мне досказать, Селестина! — возмущается отец и завладевает вниманием Джерома Андерсена, уточняя: — Да-да. Шериф часто принимает наши приглашения и, в общем, не дичится. Если бы не его глазищи, да лицо, да волосы, ничего бы в нем не было от...

...От последнего индейца, который прятался в гряде листвен на краю покинутого селения; от худого мальчишки, попытавшегося убежать, но пойманного рейнджерами. Как и большинство соплеменников, он не знал нашего языка и поначалу не говорил даже на родном. Он не был ранен, но трясся от ужаса. Только шериф, Старик Редфолл, в конце концов кое-чего от него добился, впрочем, немногого: мальчик перестал вырываться и согласился поесть. Его даже не смогли увести из леса; там он провел еще несколько дней, явно ожидая, что за ним вернутся. Не вернулся никто, и Редфолл забрал ребенка в город.

— Он вырос, но так ничего особо и не рассказал. Вообще не любит про все это говорить. Но славный, славный мальчик...

— Настолько, что получил такую должность? — Андерсен уже не скрывает, насколько впечатлен. — Ведь если я верно помню, шерифа...

— Да, шерифа тут выбирают. За Винсента я голосовал лично, чем и горжусь.

– То есть у вас *большинство* выбрало *краснокожего*?

– О, это еще одна история, и я мог бы...

– Не пора ли подать кофе? — Флора Андерсен одаривает всех улыбкой. — Правда, очень интересно, но было бы интереснее услышать от него самого. Я бы так хотела на него посмотреть!

– В таком случае я настаиваю на приглашении!

Мама крайне довольна, но, кажется, не тем, что папа замолчал, а тем, сколько раз за последние минуты переглянулись Сэм и Джейн. Несомненно, они с Флорой Андерсен отлично поняли друг друга: такие разные, но улыбаются с одинаковым удовлетворением. Отчего-то становится душно, и я, быстро извинившись, вылетаю из столовой на проходную террасу, а оттуда — на улицу.

Тихо. В воздухе — запах цветов. Лицо обдувает ветер, но не может успокоить сердце; оно колотится, точно его сейчас сожмут в кулак. А ведь сжимают вовсе не мое. Джейн... милая Джейн, неужели все всегда так быстро, так неожиданно и так... жестоко? Почему Сэм, почему сразу, почему ты, если мы такие одинаковые, что мало кто может нас различить? Почему?

«Вы разные». Сейчас я понимаю: то, что читалось в глазах, когда он произносил это, уже говорило о выборе. Все правильно, так ведь и бывает там, откуда я все знаю о любви. В книгах.

– Эмма!

Обняв меня сзади, Джейн опускает голову на плечо. Она делает так всегда в последний год, особенно когда возвращается из леса. Я привыкла к тяжелому теплу в том месте, где сестра прижимается подбородком. Сейчас за спонтанным желанием вырваться тоже приходит пусть иллюзорное, но успокоение. Она со мной. И неважно, кто остался в столовой.

– Ты стала такой грустной.

– А ты — такой счастливой.

Она вздрагивает и странно, горько хмыкает; обнимает крепче. Не отвечает.

– Он замечательный...

– Да. Замечательный.

– Ты уже влюблена?

– Прошло три дня.

– Так влюблена?

Шуршат наши платья. Жемчужина в ее ухе холодит мне шею.

– Все сложнее, чем кажется, Эмма.

– О чем ты? Пусть он из большого города...

– Нет, я не о том.

– А может, о... — я невольно улыбаюсь, — Винсенте?

Она отстраняется, отпускает меня и недовольно топает ногой.

– И что ты только фантазируешь. Редфолл просто считает меня немного краснокожей. Он в меня не влюблен.

— А как это можно — быть немного краснокожей?

Джейн плавно опускается на корточки: ее заинтересовали несколько цветков, притаившихся среди некошенной травы. Она аккуратно собирает венчики меж ладонями, не срывая, внимательно рассматривает. Бело-лиловые широкие лепестки, желтые сердцевинки. Цветы невзрачны, но Джейн все смотрит и смотрит на них.

— Никак. Но когда остаешься один, в такое хочется верить.

Я не знаю, что ответить; это слишком сложно, но, может, Джейн права. Человек, о котором по городу ходят разные слухи, забыл дорогу в свой прежний дом — в лес. Но вряд ли так же он забыл дорогу в свое прошлое, к людям, которых когда-то любил.

— Сэм чудесный.

Снова комок в горле. Проглатывая его, я повторяю ее тоном:

— Прошло три дня.

— И все же. Некоторые вещи понять легко. — Джейн встает, цветы остаются тихо покачиваться у ее ног. Она по-прежнему бледна и предлагает с лживой безмятежностью: — Давай вернемся.

И мы возвращаемся, чтобы провести еще час в праздных разговорах о музыке и железных дорогах. Несколько дней спустя с Флорой Андерсен и Сэмюелем отправляемся рисовать на природу, Джейн показывает им живописный склон. Сэм любит, но не пейзажем. Его сестра отводит в уеди-

ненное место — к Сросшимся соснам, напоминающим шепчущихся влюбленных.

Я с ними не иду.

Джейн остается жить чуть больше двух недель.

## *Здесь*

– Отличное начало, Цьяши. Просто замечательное.

– Что именно? Притащить девку, свалившуюся в обморок? Не смей меня, трофеи не лучше ли? Самострелы видели? Четыре! А перья?

– Ох, Цьяши...

Голоса пробиваются в сознание. Глаз я не открываю, так и лежу, прислушиваюсь к звукам и собственным ощущениям. Если из звуков слышен только отдаленный говор, то ощущение множество. Тепло: я явно в помещении. Грязно: шею и спину колет что-то вроде листвы, пара веточек забила в рукав. Пахнет сырой землей. А еще по мне, кажется, ползет насекомое, и если бы тошнота ужаса своевременно не напомнила, что я *в беде*, я бы уже вопила или, по крайней мере, дергалась. Но я лежу недвижно и пытаюсь выяснить последнюю важную вещь: цела ли я, а если не цела, то насколько пострадала?

Цела; ничего не болит, во всяком случае, сильно. Дышу, слышу, могу шевелить пальцами. Цьяши, назвавшая меня «девкой», права: от нервного истощения я лишилась чувств,

но вроде даже не свалилась с мангуста. Или Гибкая Лоза меня подхватила? А может, я все-таки упала? Это бы объяснило и ветки, и легкую разбитость, и насекомое... Насекомое! Фу!

Приоткрыв глаз, кошусь на собственную правую руку. Крупная мокрица ползет именно по ней. Тихонько стряхиваю нахалку и озираюсь, убеждаясь: я в помещении; если точнее, то в подземелье, иначе почему всюду торчат корни, а единственный источник света — грозди растущих из стен грибов с развесистыми желтыми шляпками? Светят они славно, даже лучше свечей: мягко, не бросают резких теней. Грибы-светильники! Прежде я встречала только светящихся насекомых. Грибы посажены — или выросли сами? — всюду. Гроздей около дюжины, и их хватает, чтобы осветить всю залу, выхватить вполне обычные табуреты, шкафы, ящики, очаг. Бросается в глаза и кое-что необычное: крошечное озеро, обложенное камешками. Ненастоящее? Или в этих земляных пещерах есть подземные воды?

Пока я озираюсь, две девушки в дальнем конце помещения не разговаривают. Знакомая мне Цьяши стоит, уперев руки в бока и выпятив грудь, а товарка — ее плохо видно, присела на корточки, — сосредоточенно сортирует предметы, раскиданные по полу. Ссклянки, перышки, камни... самострелы. Девушка разбирает мародерскую добычу. Судя по тому, каким самодовольством дышит поза Цьяши, она заслужила похвал. Заслужила и устала ждать.

– Ну же. Скажи, что я молодец, Кьори! Перья!

И стрелы... ну и девка-рыцарь.

Рыцарь? Опять?

– Ты молодец, никто и не спорит.

Голос второй девушки журчит родником. Она наконец выпрямляется — тонкая, темноволосая, такая же рогатая и черноглазая, как и Цьяши, но нормального, даже выше среднего роста. Кожа цвета топленого молока, в то время как у Цьяши напоминает обожженную глину. Черты намного острее, хрупче; девушка ассоциируется с каким-то знакомым мне существом, но я не могу пока понять, с каким. Эта незнакомка — Кьори — вглядывается в Цьяши.

– Молодец. Но лучше не высказывайся так о Жанне.

Ты забываешь, что она...

– ...Твоя подруженька, которая все делает хорошо! — Ее дерзко обрывают. — Заменявшая тебе меня. А также наш свет надежды!

Кьори, дернув острым и обвислым, как у Цьяши, ухом, невозмутимо продолжает:

– ...ранена. Не просто так многие говорили о ее гибели. Ее наверняка настигли. Ты ведь помнишь, *кто* шел по ее следу?

*Кто*. Простое слово, а меня продирает озноб. Теряет часть лихости и Цьяши: на пару секунд сжимается, пытается стать меньше. Но, видно, она не умеет бояться долго, тут же распрямляется как тугая пружина и парирует:

– Пусть так. Вот только слушай, Кьори, эта девчонка не

ранена, нет. Грязная — да, перепуганная до поджилок — да, несла чушь — да. Но кровью она не истекала.

И эта ее тряпка... разве обличье воина?

— Жанна всегда приходит в такой одежде. Для ее народа она обыденна.

— Счастлив мир, где не надо носить брони и оружия да таиться в траве...

Тон Цьяши желчный, голова упрямо наклонена. Кьори все так же спокойно вразумляет:

— Прошло немало с тех пор, как Исчезающий Рыцарь покинула нас. Раны могли зажить, но не забывай: Жанна — дитя мира, где давно нет войны. Ее навыки при ней, просто ей нужно...

Незнакомка оправдывает меня так горячо и искренне. Впрочем, меня ли?

— Ладно. — Цьяши обрывает ее досадливым жестом. — Поняла! Ты видела, как эта твоя Жанна бьется, я — нет; мне нечем возразить, у меня нет и основания тебе не верить. Но, — растопыренными пальцами она тыкает себя в веки, — глазам я тоже верю, они еще меня не подводили. Девчонка не то что не умеет драться, даже не может поднять самострел.

Кьори молчит; ее рассеянный взгляд обращается на меня, и я торопливо зажмуриваюсь. Я не смогу притворяться беспомысленной вечно, но пока не готова говорить с этими девушками. Надо послушать, понять. Они принимают меня за кого-то, и не только они. А главное, одна из них явно любит

этого «кого-то», этим можно воспользоваться, чтобы... вы-браться? Откуда?..

— Впрочем, я всегда так думала, Кьори, уж извини, — пробивается ко мне напористый голос Цьяши. — Жанна — красивый образ, чтобы вышивать ее на тряпках, принимать ее благословляющие поцелуи, чтобы она красовалась в своих белых одеждах и чтобы о ней пели песенки за выпивкой. На большее...

— Она способна на большее! — Кьори впервые повышает тон. — Всегда была, даже в день, когда явилась. Ты убедишься, едва она оправится, ты будешь сражаться с ней плечом к плечу. Теперь, когда ты в наших рядах...

Гибкая Лоза фыркает, я же холодею. Сражаться? Тошно-та усиливается, и как сквозь пелену я слышу вновь смягчившийся голос Кьори:

— Не будь такой. И следи за языком, прошу. Ты совершила подвиг, выручив Жанну. Великий подвиг, слышишь? Это оценят, цену и я. Чем ты недовольна?

— Мечтаю совершать подвиги, — колко отзывается Цьяши. — За этим и притадилась, да. Только не люблю бесполезных. В принципе не люблю, а на войне — особенно. И не нужны мне никакие вышитые девки...

— Цьяши!

Я открываю глаза в миг, когда она скидывает плащ и демонстративно топчет бело-зеленую вышивку. Подбирает часть добычи, прижимает к груди и шагает прочь, сухо по-

яснив:

– Пойду сдавать трофеи. Сил нет смотреть на эту неженку. Возись с ней сама, мисс жрица!

– *Мисс?*.. — Кьори улыбается, несмотря на гнев Гибкой Лозы. Та раздраженно поясняет:

– Так твоя подруженька говорила, мне рассказывали. Эта тоже говорит. Фу. — И злобный комок зеленых волос, самострелов и ненависти ко мне выкатывается прочь.

Кьори стоит, нервно стиснув перед грудью тонкие руки. Она смотрит не на меня и не вслед подруге, а на одну из гроздей светящихся грибов. Девушка огорчена, а может, задумалась. Наконец она поднимает плащ, бережно отряхивает, вглядывается в лик — *мой лик* — на грубой ткани... и грациозно разворачивается ко мне настоящей.

– Слушаешь? Так я и знала. Не злись, она горячится, потому что ревнует. Мы были в детстве неразлучны, она... Ох, я не о том! Жанна, милая, милая моя...

Кьори говорит быстро, на последних словах спешит ко мне, не отводя жгучего испуганного взгляда. Я смотрю в ответ, но не двигаюсь, пытаюсь понять, о ком же, о каком существе напоминает изящная незнакомка. Образ настойчиво маячит на краю сознания, но ускользает.

– Ты не умерла, — внезапно охрипнув, продолжает она. — Ты вернулась. Я так боялась, я думала, все кончено, если бы ты только знала, как я сожалею, и... просто скажи. Как ты? Я... я...

Она запинаяется, останавливается, смотрит — пытливые глаза на нежном лице. Она ждет, и мне приходится, разомкнув сухие губы, ответить:

— Если быть честной, мисс... неважно. Или даже пре-скверно. Где я нахожусь?

Кьори шарахается, взметнувшейся рукой прикрывает рот, бледнеет. Только что почти счастливая, она словно гаснет.

— Ты... — исчезает из голоса звонкое журчание. — Ты не Жанна! Не Жанна. Ты... — казалось бы, она уже на пределе ужаса, но нет, до предела далеко. — Ты... Эмма?

Она зовет меня настоящим именем первая в этом мире. Мире, который я вскоре буду знать как Агир-Шуакк — «Зеленый». Мире, где затянутое изумрудными облаками небо скрывает немые Разумные Звезды, а на знаменах вышивают мое — *и не мое* — лицо. Но все это позже. Ныне я в щемящем облегчении сама хватаю Кьори за руку. Я верю, что нашла ту, кто меня пожалеет, кто вернет жизнь на круги своя. Кто меня защитит и объяснит, что здесь творится.

Я ошибаюсь: несколькими вопросами и ответами Кьори разрушит мою душу, разум и веру. Не оставит камня на камне от моего прошлого и настоящего. А потом Зеленый мир протянет руки и к моему будущему, и я ничего не сумею сделать. Так ли просто оттолкнуть переломанные, окровавленные пальцы, простертые с мольбой о помощи?

### 3

## Тициан и Джорджоне

### *Там*

Суббота, проклятая суббота, наступает быстро — даже для меня, хотя не моя жизнь так изменилась, не мои дни проходят теперь в компанейских прогулках, не на меня обращено столько взглядов. Точнее я, конечно, присутствую при большинстве прогулок; мы с Джейн неразлучны, как и всегда, она ни за что бы меня не бросила. Вот только меня особенно не замечают: и Сэмюель, и миссис Андерсен увлечены Джейн, расспрашивают ее о лесе, о городе.

Новоприбывшие пока не появляются в Оровилле: мистер Андерсен объезжает окрестности, прикидывая, где проложить ветку, а его домочадцы разделяют наше общество и общество мамы. «Гнездо прелестниц» — так добродушно зовет нас отец семейства. Вместе интересно, ведь мы с Джейн ничего не знаем о Нью-Йорке и вообще о цивилизованных краях. Самый большой известный нам город — Сан-Франциско, недавний призрак с тысячей человек населения, а ныне ширящийся центр, куда спешат торговцы и владельцы шахт, магнаты и эмигранты. Но даже о Сан-Франциско мы

знаем понаслышке, и если меня он манит, то Джейн почему-то отталкивает. О Нью-Йорке же она слушает с интересом. Неважно, что: о магазинах со стеклянными витринами, или о покоряющей ньюйоркцев моде на наши синие штаны «деним»<sup>2</sup>, или о железнодорожных линиях, позволяющих попасть из одного конца города в другой: это называют метрополитен<sup>3</sup>.

Нью-Йорк очаровывает. Даже без трудновообразимых диких он невероятен: пронизанный проводами, шумный и день за днем служащий гнездом для тысяч беглецов со всего мира. Город, где блестящие районы промышленников, политиков и банкиров соседствует с трущобами рабочих, нищей богемы, бродяг и преступников. Где в портах звучит наверное, больше языков, чем у нас в Оровилле. И где вряд ли знают такие страшные сказки: об исчезающих индейцах, неприкаянных душах старателей, разумных зверях, спускающихся с гор, и бандитах, убивающих шерифов в спину.

То, что рассказчик — Сэм с его живой обаятельной манерой, оправдывает мое неотрывное внимание. Я могу смотреть на Андерсена-младшего, ничего не скрывая, улыбаясь, задавая вопросы и получая пространные ответы. Я могу

---

<sup>2</sup> «Деним» — прочная французская ткань, наподобие парусины, из которой в период «золотой лихорадки» в Калифорнии предприниматель Леви Штраус стал производить первую вариацию современных джинсов, пользовавшуюся небывалым спросом у старателей.

<sup>3</sup> Одна из первых веток нью-йоркского метрополитена была открыта в 1868 году. Это была эстакадная линия Девятой авеню.

врать себе, будто его слова столь же адресованы мне, сколь и Джейн. Я могу верить: ничего еще не решено.

Но не в эту проклятую субботу. В субботу — бал, и с самого утра я мучительно колеблюсь, не сказаться ли больной. Но Джейн наблюдает за мной так зорко, что я не решаюсь ее обмануть, хотя бы потому, что позже придется держать ответ. За что мне это?..

Бал, конечно, *вовсе не бал*; просто по все той же безнадежно устарелой моде отец зовет так все вечера с танцами. Вечера, ограничиваемые ужином, беседами и карточной игрой, он величает *салонами*. Сегодня отец зазвал уйму друзей, ожидает всю окрестную молодежь, поэтому — бал и только бал, «разогнать старую кровь и подогреть молодую». Не сомневаюсь: у родителей большие планы на вечер, а если точнее, на Сэмюеля. Их замшелые суждения подсказывают: ничто не сближает сильнее, чем сладкий пунш и нежный танец в полуосвещенной зале. Ньюйоркцы, видимо, поддерживают мою семью: еще накануне Флора Андерсен два или три раза задала вопрос, будет ли музыка. Музыка будет: из города пригласили очаровательный негритянский квартет, знающий не только модные вальсы и польки с континента, но также комедийный, дурашливый кейкуок<sup>4</sup> Нового Орлеана. Ах... как я обожаю танцы, как обожала, когда мне было еще

---

<sup>4</sup> Кейкуок (от англ. cakewalk — «ходьба с пирогом») — вошедший в моду после освобождения Юга танец, изначально перенятый от афро-американского народа. Характерны: бодрая музыка, струнный аккомпанемент и множество комедийных элементов: это пародия разом и на бальные танцы «белых господ», и на марши.

все равно, с кем танцевать. Еще неделю назад.

...Наш *вовсе не бал* блестящ и провинциален: гости опаздывают, разодеты кто во что горазд, иные везут подарки, хотя повода нет. Многие приглашенные давно не виделись, все толпятся, а встречая знакомое лицо, раздражаются восклицаниями, совершенно не сдерживаемыми этикетом. Наконец вроде бы являются все, почти, *кроме одного* — к разочарованию Андерсенов. Но шерифа наверняка держат дела, он не из тех, кто пренебрегает обязанностями во имя света. Может, заглянет к вечеру? Этим мама утешает Флору Андерсен. И, пока не опускаются мягкие сумерки, в саду журчат разговоры, смешки, шепотки. Родители поглощены последними приготовлениями к танцам, а ньюйоркцы знакомятся с соседями. Джерома Андерсена окружает толпа мужчин, расспрашивающих о делах партийных, Флору Андерсен — женщины, любопытствующие о нарядах, посуде и суфражистках.

Сэм тоже не обделен вниманием: наши приятели-ровесники зазывают его на охоту. А сколько соседских дочек мелькает рядом с нами — его «*первыми, но ведь не единственными же?*» приятельницами. Девушки ждут танцев, обнадеженные приветливостью Сэма; они не видят, как уверенно улыбаются уголками губ Джейн. Она-то знает: когда опустится вечер, и придет оркестр, и пунш выпьют, но аппетит еще не нагуляют, Андерсен будет танцевать только с ней. И я тоже знаю.

В какой-то миг становится столь тоскливо, что я, сослав-

шись на необходимость сказать пару слов матери, оставляю друзей. Хочется закрыться в комнате, задернуть гардины. Потому что Сэм слишком явно, слишком трепетно смотрит на Джейн. Потому что он подает ей бокал, задевая пальцами ее пальцы. Потому что он склоняется к ее уху и сообщает какие-то впечатления об обществе, а Джейн, вопреки привычке делить секреты, не передает их мне. И в толпе веселой молодежи, там, где обычно занимаю одно из центральных мест, я чувствую себя остро, непереносимо одинокой.

Я нахожу убежище в тени грифона. Пространство здесь, меж этим входом и парадными воротами, заставлено экипажами, из которых распрягли и увели в конюшню лошадей. Вид множества по-разному украшенных, открытых и крытых, зачастую аляповатых повозок напоминает то ли о странствующем цирке, то ли о цыганском таборе и навевает тоску. И это цвет наших краев, это «новая аристократия»! Это мое будущее, если не выберусь, если приму участь жены какого-нибудь промышленника из кругов отца. С другой стороны... рудники иссякают, и вскоре ничего зазорного не будет в том, чтобы бежать из Оровилла, а то и из Калифорнии. Мне бы подошло, уверена: подалась бы в суфражистки, получила какое-никакое профессиональное образование и работу. Семья бы не пропала; даже если по Фетер не нужно будет возить золото, останутся древесина, камни, скот, люди, в конце концов. Отец всегда чуял новые веяния, никогда не оказывался за бортом деловой жизни. А потом его ме-

сто в качестве хозяйки судоходной компании «Фетер Винд» — пусть так не принято, пусть в этом видится верх странного неприличия, — могла бы занять диковатая, но хваткая, умная Джейн.

Вот только так не будет, никогда. Джейн отдадут за Сэма, и он увезет ее в Нью-Йорк, куда хочу я. А я останусь здесь, сначала одна, потом с кольцом на пальце. Мне-то не доверят компанию, ведь это Джейн умеет расположить людей и снискать их уважение бойкими речами. Это Джейн хватило мужества отстоять «свои четверги» и пресечь все попытки вмешиваться в ее жизнь.

Это Джейн идеальна, а я нет.

– Дитя мое, что вы здесь делаете? Покинули общество?..

Голос Флоры Андерсен я узнаю сразу, но не поворачиваюсь. Я почти не сомневаюсь, что сейчас повторится давний конфуз: меня перепутают с сестрой. Что еще могло бы толкнуть эту неудавшуюся итальянку на мои поиски? Ведь не меня она прочит в избраницы своему...

– Эмма, вам дурно?

Вскидываюсь, не пытаюсь скрыть удивления: меня узнали? Флора Андерсен стоит на дорожке, в паре шагов. Одетая сегодня не по-ньюйоркски, но и не провинциально: на ней длинное, оттенка персика платье с посеребренной вышивкой, с пышным турнюром<sup>5</sup>, струящиеся слои которого неуло-

---

<sup>5</sup> Турнюр – модное в 1870-1880-х годах приспособление в виде сборчатой накладки, располагавшейся чуть ниже талии на заднем полотнище верхней части

вимо похожи на перья. Верх подчеркнут корсетом, смуглые плечи полуоткрыты. А кружево... я могу и уколоться об эти изломанные линии; ни одна мастерица Калифорнии такое не сплетет, здесь в ходу штампованный гипюр. Еще когда Андерсены прибыли, я вспомнила, где видела подобные наряды: на иллюстрациях к «Венецианскому купцу» Шекспира. Рядом с мужем и сыном, предпочитающими ладно скроенные, но лишённые изысков костюмы, миссис Андерсен — тропическая птица.

– Просто захотелось проветриться.

Неудачная ложь: в саду сейчас не меньше тени, чем здесь, но миссис Андерсен не настаивает. Правда, она и не уходит, опускает тонкую руку на массивное грифонье крыло, проводит по мраморным перышкам. У нее задумчивый взгляд, я такой уже замечала: точно улетает в свою Италию, а может, дальше.

– У вас очаровательнейшие места, — новая попытка завязать беседу.

Не хочется отвечать, тем более подтверждать очевидное: да, окрестности Оровилла красивы. Особенно, наверное, хороши, если ты волен по первой прихоти их покинуть. Все же я высказываюсь в духе того, что да, трудно вообразить дом лучше. Я не кривлю душой: горы, река, лес — рай. Я люблю их, как и в детстве, но откуда же странное ощущение, откуда

---

юбки, что формировало характерный силуэт с очень выпуклой нижней частью тела.

страх, будто я потихоньку начинаю... гнить здесь? *Гнить в раю?*

Чтобы не сосредотачиваться на этом, чтобы вернуть подобие душевного равновесия, я меняю предмет разговора. Открыто взглянув на Флору Андерсен, немного нарушив правила этикета, я напрямик спрашиваю:

— Как вы различили, что это именно я? У... — в последний момент отказываюсь от слова «вас», — многих с этим возникают проблемы. Мы с Джейн...

— Похожи, но на первый, беглый взгляд, — заканчивает она. — Я, каюсь, бываю поначалу поверхностна. Зато потом... — она вдруг, как дурачащийся ребенок, ненадолго прикрывает глаза ладонями, — потом я подмечаю даже то, чего не заметить другим.

— Вот как? — с недоверием, но почему-то приободрившись от этой манеры вести разговор, уточняю я. — Интересно.

— Вы с сестрой разные, — продолжает миссис Андерсен. — Очень.

«*Вы разные*». Я закусываю губу, когда голос Сэма звучит в голове вместо голоса его матери, и опять смотрю в траву. Нужно сдержаться, но я не могу.

— О да. Разные, как апельсиновое дерево и... — приминаю пару травинок носком туфли, — эта поросль. Удивительно, что не все пока заметили, но все ведь впереди?

Глаза щиплет, но слезы еще можно сдержать, пару раз

моргнув. Что, в конце концов, я себе позволяю? Я люблю Джейн, и я не позволю приехавшему незнакомцу разрушить... нет, не привычную жизнь, конечно, она уже изменилась, но гармонию своей души — точно. Мной движут лишь страхи одиночества, неустроенности и перемен. А их можно победить.

Мысленные попытки самоутешения обрывает Флора Андерсен: наклоняется и берет мои руки в свои. Это настолько покровительственный, но одновременно материнский жест, что я невольно поднимаюсь и не пробую прервать неожиданное пожатие.

— Знаете, Эмма, — мягко, тихо начинает она. — Я большая ценительница итальянской живописи. Наверное, это очевидно?..

Киваю, не понимая, к чему она ведет, но не желая быть невежливой. Миссис Андерсен, глядя мне в лицо живыми, беспокойными глазами, продолжает:

— Так вот, есть два удивительных мастера Венецианской школы: Тициан и Джорджоне. Миссис Бернфилд говорила, вы с сестрой отлично образованны, так что, полагаю, эти имена для вас не пустой звук. — Она все больше оживает, а я все меньше понимаю смысл монолога. — Для меня — а мне случалось путешествовать на континент, — они обрели особую плотность, ведь я видела вживую работы обоих. Они... тоже сходны для одних и контрастны для других. Первых сбивают колористика и склонность к остроум-

ным аллегориям, вторых — манера писать лица и расставлять акценты, а также то, что у Джорджоне в полотнах всегда или почти всегда есть еще один, помимо человека, персонаж. Природа. Джорджоне неразлучен с природой.

— Совсем как Джейн. — Невольно я улыбаюсь; Флора Андерсен серьезно кивает.

— К слову, в ее загадочной мятежной душе есть некие оттенки... близкие к «Буре» Джорджоне. Странная, очень странная картина, где лес и небо словно сходят с холста, в то время как люди подобны изваяниям. А как опасны золотистые молнии среди туч!

Никогда не видела эту картину, но у матери Сэма удивительная способность передавать краски в словах. Невольно заинтригованная, я тихо спрашиваю:

— А что же в моей душе? Какие... оттенки? Чьи? Джорджоне?

Некоторое время она молча смотрит на меня, потом слегка склоняет голову.

— Нет, милая. Тициана. В вас есть что-то от нежных красавиц с его полотна «Любовь земная и небесная». Творческая манера Тициана формировалась в том числе под влиянием Джорджоне: они не были братьями, но были близки, Тициан любил своего старшего друга и тянулся за ним. На картине тоже есть пейзаж, есть попытка подражания Джорджоне... но Тициан — уже Тициан. Насколько людские силы, телесные и духовные, у Джорджоне затаены, настолько Тициан их

выплескивает. В его персонажах, даже если они сидят, лежат, молятся, ощущается движение. Устремленность. Желание... вырваться? Изменить что-то, скрытое от зрителя?

Кто знает...

Изменить, вырваться? Я хочу, очень. Она права, и двое художников почему-то ясно мне представляются. Я слабо улыбаюсь, а Флора Андерсен чуть понижает голос:

– Кстати, дорогая. Я вспомнила их с целью донести до вас одно: какими бы сходными или различными мастера ни были, это не помешало им полюбить и запомниться потомкам, а также не помешало до определенного времени дружить...

Ах, так это была все же не лекция по живописи, а попытка душеспасительной беседы? Тогда я благодарна Флоре Андерсен вдвойне, хотя не люблю подобное морализаторство. Но она замаскировала его красиво, тоньше проповедей нашего пастора. Лишь одно смутно тревожит:

– До определенного времени? А что потом? Они... разругались?

Миссис Андерсен грустно качает головой.

– О нет, нет. Им случалось ссориться, но не по-крупному. Джорджоне умер от чумы, молодым даже по меркам того времени: ему было около тридцати. А Тициан... подумайте, девочка, Тициан ведь так скорбел, что завершил некоторые неоконченные полотна своего друга, а перед этим спас их из костра, вытащил из пламени, обжигая руки! Например...

И она погружается в новый монолог, пестрящий названиями картин, затем — в пространные рассуждения о тленности всего сущего, даже гениев. Об увядающей молодости, о бремени незавершенных дел. Она не замечает, что меня сковал необъяснимый озноб.

Он проходит, только когда я, ведомая ласковой рукой миссис Андерсен, возвращаюсь в свой «кружок» и формально извиняюсь за долгое отсутствие. Когда Джейн обнимает меня, а кто-то из джентльменов галантно подает бокал, где плавает долька красного апельсина. И то — холод разжимает когти не сразу.

Я еще не знаю, но будто предчувствую.

Джейн остается жить ровно двенадцать дней.

## *Здесь*

— Эмма...

Кьори повторяет это так, словно мое имя значит «я обречена». Чувства сменяются на лице: неприятие, удивление, страх, наконец, — росчерком, изломом тонких бровей — горе. Рука в моих пальцах дрожит, и я ее выпускаю. Я не решаюсь говорить, просто жду с холодным и внезапным пониманием: едва девушка с собой совладеет, я услышу что-то очень, очень плохое. Что-то, что, возможно...

— Эмма, а где Жанна? Где твоя сестра? — Второй рукой она все еще прикрывает губы.

...Что-то, что, возможно, убьет меня. И вот, убило.

Это действительно смерть: я не вскакиваю, не кричу, не захлебываюсь вопросами «О чем ты?», «Куда я попала?», «При чем тут Джейн?». Я лежу все так же недвижно, ощущая сучья у себя под поясницей и в рукаве. Я смотрю на присевшую возле моей закиданной листвой постели девушку, а она смотрит на меня. Сейчас будет наоборот. Я скажу что-то, что возможно...

– Моя сестра умерла, мисс.

...Что-то, что, возможно, убьет эту странную, тонкую Кьори. Я не хочу ей мстить, но у меня нет выбора. Пусть лучше скорее узнает правду.

– Умерла...

Я вижу: она хочет заплакать, тщетно силится этого не сделать. Я сама готова плакать, не только от ужаса, но и от собственных беспощадных слов, произнесенных впервые с *того дня*. Оказывается, это сложно — зарыв мертвеца, не плакать при малейшем упоминании его могилы. Явственно представляю: бледная Джейн, ее легкое платье, венок, гробовая подкладка и... черви, сотни подбирающихся к моей сестре червей. Их так много в нашей земле, так много, и они так проворны и голодны, а мертвая Джейн так беззащитна. На ней нет ни доспехов, ни кольчуги... «Счастлив мир, где не надо носить брони и оружия». Цьяши права. Вот только не существует таких миров.

– Кто вы, мисс?

Никогда еще не было так сложно вытолкнуть простые слова из горла, но нужно сказать хоть что-то, чтобы не сойти с ума. Кьори тоже это понимает, хватается за вопрос и представляется, добавив к уже известному имени прозвище:

– Я Кьори из рода Плюща. Кьори Чуткое Сердце.

«Чуткое Сердце». Ей подходит. Чуткость — в манерах и тоне, во взгляде, внимательном и приветливом даже сейчас. Кьори кажется примерно моей ровесницей, как и Цьяши, и вблизи отлично видно, что волосы у нее зеленые, но не листовенного, а мрачного, глубокого оттенка. Напоминают воду знакомого омута... или *омутов*, ведь два таких же плещутся в калифорнийском лесу. Где-то, где я живу... жила...

– Почему вы зовете Джейн Жанной? — Это дается еще тяжелее прежних фраз. — Откуда знаете ее? Ваш разговор с подругой сбил меня с толку, мне показалось, вы... были близки?

Кьори колеблется. Вместо того чтобы ответить, она задает свой вопрос, и глаза мягко, но требовательно встречаются с моими.

– Ты не знаешь ничего, да? Она не сказала даже перед смертью? Как же ты оказалась здесь?

«Сходи к Двум Озерам, Эмма. Пожалуйста, сходи к Двум Озерам и...»

Я глухо повторяю эти слова — последние слова моей Джейн. Кьори так же глухо их за меня заканчивает, низко опустив голову:

– «...предупреди повстанцев, что я не вернусь». Наверняка она хотела дать знать. Чтобы не надеялись, чтобы не попали в ловушки, пытаюсь ее искать. Она... отвечала за каждый свой поступок. Даже за свою смерть. Я... я...

Она плачет. Плачет по моей Джейн, так же горько, как плакала я. Плачет сдавленно, глухо, силясь затолкать рыдания назад. Не получается: Кьори начинает кашлять, гладкие пряди закрывают лицо. Я жду, мне нечего сказать, нечем ее утешить. К горю и страху внезапно, бесцеремонно прибавилась ревность. Что за девушка? Что за место? И... «повстанцы»? На воссоединившихся Севере и Юге мир. Думая об этом, я оглядываю помещение снова: похоже на обычную комнату, похоже во всем, кроме корней, грибов и озерца... где-то здесь оружейные склады? Лазареты? Конюшни?

– Прости. — Кьори отнимает руки от лица. Я вижу невысохшие слезы, вижу, что пальцы с длинными коготками дрожат. Но Чуткое Сердце силится улыбнуться, и я делаю вид, что верю.

– Ничего... я сама все еще о ней скорблю. Но почему... почему Жанна? И где мы?

Кьори теперь тоже озирает свое... жилище? убежище? Она размышляет, и, думаю, размышления нелегки. Я чужая; что бы это ни значило, я — чужая. И я не Джейн.

– «Жанна» — так мы упростили ее имя в нашей речи. Нам непривычны сочетание «дж» и женские имена, оканчивающиеся на согласный. Твое имя проще, я произношу его без

труда. Эмма. Правильно? — Получив кивок, она снова улыбается. — Я запомнила, потому что часто слышала. Жанна любила о тебе рассказывать вечером, когда мы приносили сюда *тлеющие цветы*, грелись возле них и...

В ее речи много непонятного, например, «тлеющие цветы», но наиболее непонятно другое.

— «Вечером»? — Резко сажусь. — Постой. Она никогда не уходила из дома... а вы ведь знаете, что она уходила, судя по вашему разговору... так вот, она никогда не уходила из дома больше, чем на день. К вечеру или хотя бы к ночи она всегда возвращалась. Может...

*Ты путаешь ее с кем-то? Или мне снишься? А может, ты просто сумасшедшая, живущая под землей?* Любой из вопросов, увенчайся он ответом «да», принес бы мне облегчение, но я не успеваю задать ни одного. Кьори, терпеливо покачав головой и прервав меня, поясняет:

— Чтобы говорить дальше, ты должна понять, Эмма. Это не ваша... — она облизывает губы и с трудом, ошибившись, проговаривает: — ...Калифорна. Это другой мир, но его связывает с вашим Омут *Зеленой Леди*. Ты прошла сквозь Омут, — тебя пропустили, приняв за Жанну, — и отныне понимаешь нашу речь как свою. Но ты не дома. У нас все другое, время тоже. Уйдя на шесть-восемь ваших часов, Жанна проживала здесь полтора наших дня, порой задерживалась на два. А потом вновь шла к Зеленой Леди и возвращалась домой.

— «Зеленая Леди»... — повторяю с содроганием.

*Тварь.* Она ведь говорит об озерной твари.

— Ты испугалась? — Кьори впервые улыбается искренне.

— Зря. Она очень добрая, но она — страж. И это Жанна придумала так ее звать, она считала ее чудесной.

Я вспоминаю: *там*, у нас, я склонилась над одним из Двух Озер, и меня утатило в глубину создание, похожее на нимфу. Над ушами ее, на плечах и груди прорастали нежные цветки кувшинок, источавшие сладчайший запах. Но когда она подалась ко мне, схватила за руку второй раз и выдохнула: «Ты так нужна нам, Жанна! Где ты была?», я увидела хищные сахарно-белые зубы и черный язык. Тогда я и побежала не разбирая дороги, тогда мне и встретились вооруженные тени. Я не готова признать, что обитательница озера милее и симпатичнее, чем они. Но мысль быстро меркнет, другие прогоняют ее прочь.

«Ты не дома». Рассудок захлебывается гневным отрицанием, но одновременно — подсчитывает доказательства. Зеленая Леди. Огромные мангусты. Желтое пламя стрел. Обитатели окрестностей — все странные, как один. И если сначала «английская» речь еще позволяла цепляться за иллюзию, что меня каким-то образом занесло на юг Штатов, то пора ее отбросить. Кьори дала объяснение: дело в озерной воде, той самой, возле которой когда-то уже пропали люди — индейцы. Интересно, их тоже утащили? Но если речи о другом ходе времени правдивы, можно даже не спрашивать:

у нас с того дня прошло восемнадцать лет. И если наш час равен где-то четырем здесь, то сколько минуло для Зеленого мира?

Больше полувека, если тут считают века.

Я не знаю, что дальше, какой вопрос задать первым. «Вы настоящие?», «Я в плену?» или все же главный, болезненный, накрепко сплавленный из трех: «Что связывает вас с Джейн, почему она ходила к вам, почему лгала мне?». Молчу, хмуро глядя перед собой. Боковым зрением замечаю: Цьяши периодически возвращается за очередной добычей; всякий раз хмуро косится в сторону постели. Хорошо, что она не заходила, пока Кьори плакала: точно влепила бы мне крепкую затрещину за то, что я обидела ее дорогую подругу.

Кьори, наверное, догадывается о моем смятении. Она вновь начинает говорить сама и в рассказе аккуратно задевает все пришедшие мне на ум вопросы, а также многие не пришедшие. Слушаю, созерцая грязные корни, светящиеся поганки, листву, устилающую пол. Мне тяжело смотреть в лицо новой знакомой, а еще хочется зажать уши. Я не знаю, когда буду готова поверить в *такое*, буду ли вообще. В детстве я пришла бы в восторг, услышав подобный рассказ; подпрыгивая, расспрашивала бы подробности и в красках воображала себя на месте действующих лиц. Но в детстве это была бы сказка... сказка для двоих, Джейн слушала бы со мной. Сейчас я взрослая, одна, и с каждым словом меня оставляют силы.

В этот мир — Зеленый мир Агир-Шуакк — пришли когда-то враги. Леди из рода Кувшинки (все стражи Омута из рода Кувшинки) была добрее, беспечнее нынешней. Молодой мир не знал войн, любопытствовал до миров других и охотно открывал двери тем, кто находил сюда путь. Чужаки попросили убежища, их пустили. То были люди — по крайней мере, так считает Кьори, хотя в ее мире нет такого понятия. Существа здесь делятся на ветви: «зеленую» и «звериную». Первую местные божества — Разумные Звезды, что за облаками, — сотворили из деревьев и цветов, к ней относятся Кьори и Цьяши. Вторая ветвь имеет в основе зверей и птиц. Она вышла жестокой и своевольной, поэтому Звезды сделали ее малочисленной, но все же не извели полностью, ведь именно «звери» защищали Агир-Шуакк и пытливым умом двигали его вперед. Один из «звериных» родов — правящий род Белой Обезьяны — сильнее прочих был похож на гостей из Озера. И он первым поплатился за гостеприимство.

Чужаки приютились в лесу. Многие были ранены и испуганы; видимо, из родных мест их изгнали. Чужаки ссорились, что-то у них шло в разлад, некоторые рвались назад. Но рука предводителя объединила их: его уважали, ему верили. Он был смел и силен, мало, но метко говорил, прямо смотрел. Он понравился и «зеленым» и «звериным», показался им созданием, достойным дружбы. Как они ошиблись... но *он* мог обмануть кого угодно, даже Звезды, иначе почему те

не вступились за своих детей, почему не послали знамений? Когда грядет беда, тонкие зеленые облака, обычно окутывающие небо, расступаются, и Звезды являют лики. Такое бывало пять или шесть раз за мировую историю.

Никто не догадывался, что с собой чужаки принесли не только пожитки и младенцев, но и оружие. Его Агир-Шуакк прежде не ведал: здесь если сражались, то чаще зубами, когтями и чародейством. Но вскоре, когда гости обжились, хозяевам пришлось узнать их силу. *Тиктэланы* — изгнанники — превратились в *экиланов* — захватчиков. А ведь их было совсем мало.

— Луки... — тихо продолжает Кьори, страх звенит в голосе. — И острые-острые ножи. И, говорят, когда экиланы пришли, у некоторых были грохочущие *дымные трубки*, но потом перестали работать, и тогда кто-то из них изобрел то, что зовут самострелом, — механический лук. Мы проиграли. Нас выгнали сюда, заняли наш прекрасный Черный Форт. Предводитель экиланов... он не только умелый воин, но и колдун. Видела перья, которые принесла Цьяши? Одно ненадолго превращается в клинок. Второе делает невидимкой. Третье дает способность летать. И желтый огонь... страшный огонь для каменных стрел тоже создает *он*.

— И он... один такой? — заикаясь, спрашиваю я. — Или все? У нас вот на весь город ни одного колдуна, поверишь ли. Откуда они могли прийти к вам?

Не дьявол ли их прислал? Но лучше не поминать нечисто-

го в явно нечистом месте.

— Он один, — отзывается Кьори, тоже с дрожью. — Единственный вождь экиланов и единственный колдун, остальные лишь пользуются зачарованными предметами. Он...

— Как его имя? — почему-то я хрипну. — Не зовут ли его часом... Люцифером?

Глаза Кьори расширяются. Зачем-то она озирается и только потом произносит:

— Мэчитехьо. Это значит Злое Сердце. Он привел первых чужаков, но в то время как все они давно истлели, он жив, молод. Убивая своим каменным ножом, он забирает остатки жизни, отведенной врагу богами. А он убил уже многих. В том числе... ох, Эмма... всегда хотел убить *ее*.

Джейн. Он убил Джейн. С трудом удается вдохнуть, с еще большим — сдержать стон. Убил... вспорол живот, как жертвенному животному, так, что Джейн, приближаясь к дому, оставила столько крови на траве и нежных белых цветах, на ступенях, на крыльце...

— В давние времена от его руки пали *и'лияр* из рода Белой Обезьяны и его сын, возглавивший сопротивление. Богоизбранный род Белой Обезьяны пресечен, а с ними из мира ушла почти вся магия, которой нас питали Звезды. Правители Агир-Шуакк зовутся... звались... «и'лияр», светочами: сквозь них струилось небесное сияние, они были средоточием силы. Их не стало — не стало волшебства. Война длится до сих пор. Мы научились делать оружие и пользоваться

тем, что забираем у экиланов, но этого мало. Мы слабы, нас выживают к *краям мира*. Мы гибнем, а Черный Форт растет. Экиланов все больше, они долго живут и рожают много детей, к тому же к ним уходят многие с нашей стороны, чтобы не голодать и не мучиться в диких землях. Но... — Кьори спохватывается, давит улыбку, — это нет смысла рассказывать. Это наши беды, не твои. Честнее будет рассказать тебе о Жанне.

Жанне, для которой ваши беды были не *вашими*, а *ее*. Иначе почему она так часто сбегала в лес? Почему возвращалась мрачная, грязная и голодная? Почему крепко, как перед казнью, обнимала меня? У нее была война. Она ушла на свою незримую войну, когда мужчины Севера еще только-только возвращались с другой. Видимой, осязаемой, приютившейся в каждой газете.

И я киваю, набравшись мужества.

– Я очень хочу узнать о Джейн. Я очень хочу... понять Джейн.

Кьори снова начинает говорить. Она рассказывает, что Жанна пришла в Зеленый мир еще до того, как Кьори присоединилась к повстанцам. Легенды о Жанне она знала с детства. А почти не увядающая молодость девушки в белом — Исчезающего Рыцаря — была для всех таким же поводом благоговеть, как и ее храбрость.

– Впервые она попала сюда еще ребенком. Она тогда пыталась спрятаться в озере от какого-то животного — там, у

вас. Зеленая Леди пожалела ее и провела к нам.

– Провела?..

Кьори, спохватившись, поясняет:

– Ах да, ты не поняла... Зеленая Леди — не просто страж. Она *волшебная воля* Омута; если она не захочет помочь тебе, ты никогда не попадешь к нам и никогда от нас не уйдешь. Поэтому Мэчитехьо... — Она осекается, явно сомневаясь, завершать ли фразу. — Поэтому экиланы больше не приходили к вам за стреляющими трубками.

...И за жизнями, которые могли бы забрать каменным ножом. Или чем этот сумасшедший продлевает собственные годы?

– Стражи ненавидят экиланов, не выпускают даже под страхом смерти, и те оставили попытки прорваться в ваш мир. А вот для Жанны Омут всегда был открытой тропой.

Я вспоминаю: в тринадцать Джейн рассказывала, как в лесу ее напугал медведь. С начала Лихорадки их стало меньше, этих животных истребляют, но все же медведи по-прежнему встречаются в наших краях. Это одна из причин, по которым отец поначалу был категорически против «четвергов Джейн», и одна из причин, по которым научил ее стрелять. Иногда — видимо, подстегиваемый интуицией — он просил, чтобы она брала револьвер. Джейн не всегда подчинялась просьбам, называя свои прогулки «мирным женским досугом». Мирным...

– ...Она вступилась за наших раненых воинов, выстрели-

ла из... трубки, но маленькой, — тихо рассказывает Кьюри. — Повстанцы взяли ее с собой, поначалу хотели просто попытаться: кто она, откуда, откуда у нее эта вещь...

Папин «кольт», не иначе. Джейн иногда просила у него патроны, говоря, что упражнялась в стрельбе. *По дер е вьям.*

— Она мало тогда рассказала о себе, зато помогла. — Кьюри мягко поводит рукой, точно ткет нить. — Она умела прижигать раны, промывать, перевязывать. Позже она приносила снадобья, не дающие ранам гнить, спасала командиров, и... временами мы даже начали выигрывать. Девушка в белом стала для всех как живая удача. Многие просили у нее благословляющего поцелуя или что-нибудь на счастье, вышивали ее лицо на плащах, особенно на спине, веря: тогда в спину не убьют. И их не убивали. Надежда — вот что она нам дала, еще не взяв оружия. Много ли для надежды нужно отчаявшимся?

Кьюри кидает на меня странный взгляд. Становится скверно, когда я понимаю, что там читается. Вина. Чуткое Сердце прекрасно понимает, что виновата, виновата, как частица мира, навеки забравшего у меня сестру. Бормоча что-то о надежде и отчаянии, Кьюри тщетно силится оправдаться, хотя не обязана. Я отвожу глаза первой.

— Она выросла, приходя к нам, — продолжает Кьюри. — И вскоре ей надоело оставаться за чужими спинами. Да, однажды она стреляла, да, несколько раз пряталась в засадах. Но обычно ее оружие не работало.

Она не могла брать у отца пули слишком часто, он бы что-то заподозрил, он же не идиот.

— Воины боялись за нее. Она попросила обучить ее драться лучше. Они в конце концов согласились, нашелся наставник — один из лидеров движения. И...

Дальше Кьори рассказывает то, что я поняла и сама, разве что подробнее. Джейн перестала быть лекарем, а стала рыцарем, как называла себя сама. У нее были доспехи и меч — наследие лучших дней Форты, в то время как у прочих лишь трофейные арбалеты, ножи, дубины и копья. Верхнее одеяние ее тоже отличалось: если повстанцы силились слиться с зеленью, она летела вперед, в атаку, в белом плаще. И ни разу ее не поразила стрела, что-то ее берегло, берегло дуреху Джейн столько лет. Моя любовь? Или вера этих странных созданий? Или...

— Знаешь... — Обрывая мысль, Кьори снова смотрит на меня, пусто и безжизненно. — Эмма, она так близко принимала нашу войну. Она говорила, ваш народ знает вину жестоких гостей перед радушным и более слабым хозяином. Она говорила, вы уже так воевали, и ваша война выиграна. Выиграна... вами?

— Нами, — эхом отзываюсь я.

Я вспоминаю снисходительные замечания отца о краснокожих соседях. Вспоминаю истории о том, как многие индейцы, уходя из плодородных низин Сьерра-Невада к взгорьям, проклинали старателей, суля им беды, а вскоре умер-

ли от голода и холода в злом снегу. Вспоминаю иные байки: о повешенных индейцах, застреленных индейцах, о попытках сделать индейцев рабами, еще на заре Америки. Последнее воспоминание — *индеец из города*. Индеец, каждый день которого — попытки доказать, что он заслуживает шерифского значка, места на церковной службе и фамилии покойного приемного родителя. Заслуживает, независимо от оттенка кожи, волос и глаз. А ведь он не обязан ничего доказывать. Однажды он уже это сделал.

– Да, — повторяю я. — Однажды мы выиграли. И...

Я понимаю Джейн.

Я не успеваю закончить, Кьори не успевает ответить. Рядом раздается знакомый, бесцеремонный, громкий голос:

– Итак... это не Жанна! Иначе почему бы ты болтала с ней о ней самой? Так я ее убью?..

Возле моего горла маячит нож. Вскрикиваю; замерев, гляжу на смуглое лицо Цьяши, которое сейчас примерно на уровне моего лица. Гибкая Лоза злится и одновременно торжествует. Не знаю, сколько времени назад она утащила из комнаты награбленное добро, но это явно произошло давно, так или иначе, она в курсе нашей беседы и не собирается молчать.

– Так и знала! Знала!

– Цьяши. — Кьори плавно отводит занесенный нож. — Перестань. Это Эмма. Она сестра Жанны. И она...

– Так же бесполезна!

– Цьяши! — Кьори уже по-настоящему зла. — Она здесь впервые! Ей страшно! Ты перепугала ее еще сильнее, ты вела себя, как *звериные*, и...

– Но ведь она права, — тихо перебиваю я. — Она совершенно права: я *бесполезна*. Если я должна была исполнить последнюю волю Дж... Жанны... я ее исполнила. Сообщила вам о ее смерти. Теперь я хотела бы попасть домой. Вы можете?

Цьяши так удивлена моим согласием, что позабыла бранные слова. Гибкая Лоза то открывает, то закрывает рот, бездумно созерцая собственный нож. Кьори глядит мимо нее и мимо меня, в пустоту, брови сдвинулись к переносице, на лбу прорезалась морщинка.

– Пожалуйста...

Прежде чем хоть одна из них бы ответила, помещение вдруг заполняют незнакомые голоса. Их не два, не три, даже и не дюжина; их десятки, они режут и перехлестывают друг друга. Многие заклинанием повторяют имя. Не мое имя.

– Жанна!

– Жанна вернулась к нам!

– Да здравствует Исчезающий Рыцарь!

– Пропустите!

Кьори и Цьяши почти одинаково прижимают руки ко ртам и вскакивают.

## 4

# Пантера, волк и орел

### *Там*

Танцы именно таковы, какими представлялись мне с утра: шумны и бестолковы, несмотря на то, что квартет начинает со стройных европейских вальсов. Настроение не улучшается, хотя по зале разливаются нежные «Песни любви» и «Голубой Дунай». Штраус прекрасен. Талант его расцветает там, на Большой земле, познавшей тысячи войн, перемирий и великих открытий. Музыкант вроде Иоганна Штрауса никогда не поедет гастролировать в полудикие Штаты<sup>6</sup>; все, чем нам суждено довольствоваться, — посредственное исполнение его композиций негритянскими оркестрами и не менее посредственное — оркестрами белых филармоний. Почему-то я ни минуты не сомневаюсь: европейцы играют свою музыку лучше нас, жалких подражателей. В конце концов, они создали ее.

– Чудесно, не правда ли?

Со мной снова беседует Флора Андерсен; кажется, она взяла роль моей верной компаньонки. Я неловко улыбаюсь,

---

<sup>6</sup> На самом деле уже в 1872 году «король вальсов» все же посетит Америку.

пожимаю плечами и решаюсь озвучить мысль:

– Едва ли эта вальсы так звучат в Вене...

– Не поспорю, — отзывается миссис Андерсен, изящно отпив из бокала. — Венцы неважно умеют веселиться, их исполнение лишено такой живости, хотя играют зачастую десятки музыкантов, огромнейшие оркестры...

– Правда? — недоверчиво уточняю я и получаю величественный кивок.

– Моя девочка, мне случалось бывать в Вене. Балы подлинно блистательны, трудно отыскать подобное даже на старом Юге. Но эта блистательность чопорна.

Здесьняя просто Тамне куда милее.

– Неужели...

Разговор занятен, но среди сюртуков и платьев уже мелькнула знакомая пара, отвлекающая от философских размышлений о вторичности нашей культуры. Серое и лазурно-голубое в отделке лимонных лент. Сэм и Джейн. Они смеются, стремительный вальс не мешает им вести беседу и иногда непозволительно близко склонять друг к другу головы. Я смотрю на кружево подола Джейн, на точные шаги ее стройных ног в легких туфельках. Мое кружево на таком же, только фиалково-бежевом платье запылилось, нижние оборки испачканы травой, турнюрная накладка примялась, когда я попыталась посидеть на постаменте каменного грифона.

– Америка уникальна, — заливается Флора Андерсен. — Подумайте, в каких условиях возводилось наше государ-

ство? Нас было немного, мы были бедны и просты... Сам Вашингтон отдыху на перине предпочитал скромный сон под сенью дуба, а кремовым тарталеткам — вишневый пирог! Мы привыкли обходиться малым во всем, от пищи до музыки, и едва ли отыщется в Вене квартет, — она кивает на наших темнокожих, — способный на *такое* исполнение Штрауса. Вчетвером они стоят четырех дюжин. Почти каждый наш человек, если, конечно, не совсем пропащая душа, стоит десятка европейцев!

На последних словах она экзальтированно возвышает голос и получает одобрительные смешки от наших соседей, уже порядком налегших на пунш. Один из джентльменов, почтенный владелец лесопилки мистер Нортон, подлетает к нам и неуклюже ангажирует «блистательную нью-йоркскую патриотку» на вальс. Та соглашается, не забыв кокетливо поинтересоваться, хорошо ли мистер Нортон танцует. Ответ «О да, мэм, как и все лесорубы!» награжден грудным «Ах, очаровательно!». И я снова остаюсь одна, ищу Джейн среди кружащихся девушек, и тысячи демонов разом терзают меня. Кажется, вот-вот я лишусь чувств, но...

Но меняются аккорды. «Прекрасный голубой Дунай» отхлестывает от наших берегов.

«Сказки Венского леса» слишком любимы, слишком напористы и волшебны, чтобы я устояла. В «Сказках...» живет огромный мир за пределами Оровилла, мир, которого я не видела, но о котором грущу. Я дарю вальс Сэдрику Смарту,

сыну одного из компаньонов отца. Мысли мои по-прежнему о том, каково быть в объятиях Сэмюэля Андерсена, но нельзя, нельзя поддаваться, тем более Сэдрик не менее ловок, красив, а как он глядит на меня... В полете и кружении игра негров перестает казаться посредственной, созвучия берут надо мной верх. И когда Джейн, увлекаемая Сэмом, улыбается мне из-за его плеча, я улыбаюсь в ответ.

Вальс... вальс для меня, наверное, что виски для пьяниц. В вальсе я перестаю тосковать и тревожиться, дурное отступает. Остаются свет залы, игривый блеск начищенного паркета, руки, держащие галантно, но крепко.

Сэдрик любит меня, и мне нравится его любование, может, хотя бы оно вернет мне румянец?

– Вы сегодня так красивы, мисс Бернфилд, совсем как... горный цветок.

Сэдрик шепчет это, и его, а не мои щеки алеют. Позволяя чуть сильнее сжать руку, дарю еще улыбку. Это ни к чему не обязывает: он влюблен давно и без иллюзий, лишь изредка робко напоминает о своей любви и благодарен за то, что я хотя бы не топчу ее. Я жестока... как я жестока, если разобратся. И как жестока судьба теперь со мной, не в наказание ли?..

– Эмма? — обеспокоенно зовет Сэдрик, и, прежде чем момент стал бы неловким, вальс смолкает. Я размыкаю объятие и тепло, но безмолвно киваю на вопрос «Вы в порядке?», после чего покидаю своего кавалера.

Он тоскливо глядит вслед.

Музыканты берут паузу; кто-то по щелчку отца несет в их уголок подносы с напитками и угощениями. Сам отец торопится в противоположную часть зала, ко входу, где собирается толпа, явно обступающая кого-то. Кого-то долгожданного и *обещанного*. Тут же я получаю подтверждение догадке: среди серых, коричневых и цветных сюртуков мелькает высокий силуэт в черном.

– Идемте, идемте, мистер Андерсен!

Рядом незаметно возникла Джейн. Ее разгоряченный взор устремлен на гостя. В толпе мелькают и вызывающе-полосатый сюртук отца, и персиковое платье Флоры Андерсен, и сдержанный пиджак ее мужа. Все шумят; до нас, по мере того как мы пересекаем залу, начинают доноситься оживленные голоса:

– Вы нас почтили!

– Старина Винсент, вы чуть не пропустили пунш!

– Что там головорезы, шериф, многие сегодня за решеткой?

– Мистер Редфолл, хоть к ужину успели!

– Позвольте представиться...

Джейн тихонько хихикает в кулак и сообщает Сэму:

– Вот наш индеец... нужно выручить беднягу, он не любит внимание. Я уже придумала, как это сделаю, но не вырывать же его сразу из рук отца, он меня убьет! Идите, познакомьтесь, а я пока угощусь пуншем. Совсем пересохло в горле,

вы замучили меня, милый Сэм.

«Милый Сэм»... моя Джейн не просто меткий стрелок, она метка и в словах. Она выпускает локоть Андерсена, — как если бы сдула дымок со ствола невидимого револьвера, — и отходит. По лицу Сэмюеля я с горечью понимаю: еще недавно заинтригованный «краснокожим шерифом», сейчас он с радостью променял бы знакомство на общество моей сестры, на возможность наполнить ее бокал и увериться, что она останется рядом до конца вечера. Но Джейн окончательно поработила его разум: Сэм не перечит. Ответив на ее улыбку, подарив вторую мне, он идет к отцу. Его пропускают; я, пользуясь этим, спешу следом.

Молодой индеец стоит, прямо держа спину. Он выделяется из толпы: не только длиной густых волос, не убранных в хвост и достигающих лопаток, но и нарядом. Он не счел нужным переодеться перед визитом, впрочем, я вообще не знаю, есть ли у него вечерний костюм. На официальную одежду не раскошеляются многие оровиллские белые, что говорить о племени, для которого правильный наряд — удобный наряд? Редфоллу, например, удобно в рубашке с небрежно повязанным шейным платком, в кожаном жилете с грубой бахромой по краю и в привычных для Калифорнии штанах «деним», разве что не синих, а черных. Вид довершают пыльные сапоги и единственная блестящая деталь — звезда на груди. Невзирая на отсутствие перьев, бусин, черепов и других амулетов, шериф смотрится крайне живописно, а ведь на скула-

стом лице нет даже боевой раскраски. Впрочем, Винсент не носит боевой раскраски; как и прочее, этот обычай для него мертв. Он сделал ее один раз за всю жизнь, на один день, точнее, *одну ночь*. Вряд ли когда-либо это повторится.

Редфолл уже представлен Джерому Андерсену; улыбается его супруге, но делает вид, что не замечает протянутой для поцелуя руки. Винсент не целует рук, редко жмет их; как правило, его приветствие ограничивается приподнятой ладонью. Мистер Андерсен сам хватает смуглую, отливающую медью кисть индейца и энергично трясет. Редфолл, в первый миг вздрогнувший, не проявляет резкости, терпеливо ждет, пока его отпустят. Возможно, он видит, что гости безобидны, но скорее просто устал, да и привык будить любопытство в приезжих. Наконец разорвав пожатие, Джером Андерсен выпаливает:

– Рад, очень рад! — Он одергивает жену. — Милая, это поистине вульгарная, устарелая формальность — целование ручек. Пережиток *Юга*.

Тонкие брови Флоры Андерсен капризно сходятся к переносице, и супруг спохватывается: ловит замершую в воздухе ладонь, игриво целует, после чего опускает и извиняется перед шерифом, прибавив:

– Мы не подозревали, сколь прогрессивны ваши края. Рисуем сами прослыть здесь простаками, не знающими манер!

– Что вы, мистер Андерсен! — встревает отец, донельзя

удивленный. — Вы придаете лоска нашему скромному балу. Что же касается Винса, — он подмигивает индейцу, — не обижайтесь на него, он неизменно строг и начеку. Правильно, мой мальчик? — Тон смягчается. — Как дела в городе? Мирно? Видимо, не очень, раз ты припозднился. Селестина!

Маму он окликает шутливо-грозным тоном, и она понимает с полуслова: сама приносит Редфоллу бокал пунша. Ласково улыбается, и улыбка краснокожего тоже «оттаивает». Мама на многих так действует, буквально как луч солнца в ненастное утро. Тем более, Винсента она знает слишком долго, чтобы не считать почти отпрыском.

— Благодарю, миссис Бернфилд. — Винсент забирает бокал, неглубоко кланяется и обращает взор на моего отца. Сильный голос ровен, речь почти без акцента, лишь гласные чуть-чуть растянуты. — В Оровилле спокойно, во всяком случае, еще недавно было так. Даже с той переправляемой партией золота обошлось почти без проблем.

— Почти? — оживляется Джером Андерсен. — Сколько выстрелов? Сколько парней покушались на самородки и были уложены вашими храбрецами?

Редфолл смотрит на него с легким удивлением; «Нью-Йоркцы...» — читается в глазах. Вообще Винсент, скрестивший у груди руки и лишь иногда попивающий пунш, выглядит забавно рядом с едва ли не прыгающим, излучающим любопытство отцом Сэма. Сухо прокашлявшись, индеец наконец отвечает:

– Ни одного. Но кое-кто из сопровождающих переусердствовал с виски и упал за борт. Его достали без помощи рейнджеров, правда, потом он из-за чего-то затеял со спасителем драку.

– Какая проза! — Андерсен хмыкает с долей разочарования, но, кинув красноречивый взгляд на кобуру шерифа, приободряется. — Ну, хотя бы на неделе-то расчехляли его? — Кивок на револьвер. — Славный «вессон», даже узнаю модель, первый тип, верно? Диковинка, выглядит едва ли не старше вас! Неужели были на Гражданской?

– Это оружие отца, — сухо поясняет Редфолл и прибавляет, отвечая на предшествующий вопрос: — Неделя спокойная. Больше в бумагах, в делах, и...

Его перебивают с бесцеремонностью, какой я поистине не жду от жителя большого города:

– Оружие вашего... — Глаза Андерсена округляются. — А разве вы... такие, как вы...

Угадать несказанное легко, и это чревато нарушением этикета. Мистер Андерсен в пылу насыщенного вечера ухитрился забыть *самую важную* деталь биографии Винсента. Мать переглядывается с отцом; тот красноречиво кашляет и спешно, опережая конфуз, напоминает:

– Винсент воспитывался нашим прежним шерифом, Дональдом Редфоллом. Семейное дело, так сказать, призвание... — Он подмигивает в этот раз непонятно кому, потому выходит двусмысленно. — Да, господа, защищать закон

— тоже призвание, к нему должен быть талант. У Винсента талант выдающийся.

— И многие из нас, к слову, умеют стрелять, — спокойно прибавляет Редфолл. — А также говорить на вашем языке, пользоваться столовыми приборами и носить обычную для вас одежду. Представители племен принимают чужие правила, если необходимо.

— О... — У Андерсена по-мальчишески пунцовеют уши. — О... мне, право, неловко. Конечно, я все это знаю, просто впечатлен, я... — Он замечает сына и, точно утопающий, хватает за руку. — Кстати, вот кого вам еще не представили, мистер Редфолл! Мой Сэм, он наслаждался дамским обществом, чуть все не пропустил. Сэм! — Ладонь Андерсена размашисто перемещается на плечо сына. — Это мистер Винсент Редфолл, шериф Оровилла! Веди себя с ним вежливо, он ревностный законник.

Сэм дружелюбно смотрит на краснокожего и, видимо, помня что-то о племенных традициях, не пробует добиться рукопожатия. Шериф в свою очередь изучает Сэма внимательно, чуть свысока: тот уступает в росте на треть головы. Лицо Редфолла по-прежнему непроницаемо, вероятно, маска не слезет до конца вечера. Винсенту неуютно в шумном обществе, это заметно как никогда. Сэм неуверенно приподнимает руку на уровень груди и говорит:

— Рад встрече. Не знаю, приятно такое слышать или нет, но о вас ходят легенды.

– Вот как? Догадываюсь о содержании.

Редфолл потирает лоб — нехарактерный жест; обычно он слишком крепко держит себя в руках, чтобы продемонстрировать усталость. Наконец шериф улыбается Сэму — мирно, но отчужденно — и повторяет его движение: приподнимает кисть.

– Взаимно рад. Как находите наши места? Они вам ранее не были знакомы?

– Не были, но мне они нравятся. И люди душевные. Добрые. Необыкновенные...

Ненадолго он отворачивается, мечтательно выискивает Джейн, но ее скрыла отхлынувшая, потерявшая интерес к запоздалому гостю толпа. Мужчины и женщины, разбившись на группки, болтают и пьют, кто-то удалился проветриться в сад. Музыканты деловито настраивают инструменты. Возле Винсента остались только Андерсены, наше семейство и пара праздных слушателей вроде мистера Нортон и престарелой тетки Сэдрика Смарта. Сэм смотрит на Редфолла, но тот больше не обращает на него внимания. Пытливый взгляд, оттененный угольно-черными ресницами, устремлен на Андерсена-старшего.

– Скромное знание человеческой природы заставляет кое-что предположить. Позвольте?

Тот, вздрогнув, неловко улыбается, стряхивает невидимую пылинку с рукава и кивает:

– Вне всякого сомнения. Интересно, о чем вы.

– О... — Винсент слегка склоняет голову, — любопытстве. У вас есть вопрос. Я слышал его уже столько раз, что, вопреки вашим ожидаемым опасениям, привык. Спрашивайте смело: незаданные вопросы сгнивают на кончике языка или, хуже того, пускают дурные корни в сердце.

Все-таки, как бы вежлив Винсент ни был, как бы гладко ни звучала его речь, нельзя забывать, кто он. Отталкивающий образ возникает перед глазами, я вспоминаю все свои замолчанные, *гниющие* вопросы. С приездом Андерсенов их стало только больше, они невыносимы. Страшнейший — «Почему Джейн, а не я?..». Я отвожу взор и слышу возглас Джерома Андерсена:

– Ваша проницательность опасна! И мне вправду обещали рассказ о вас, а именно о том, как это, — отец Сэма не указывает пальцем, а лишь кивает на значок шерифа, — оказалось на вашей груди. Не люблю вынюхивать, особенно в делах семейных, но...

– Но лучше, — смиренно перебивает Редфолл, — вам услышать это от меня, чем от кого-то в искаженном виде. Ведь вы гость. — Он заводит за ухо гладкую прядь. — А гостям не отказывают в прихотях, по крайней мере, пока они не нарушают границ дозволенного.

– А если нарушат, можно и скальп снять? — Андерсен издает нервный смешок. — Прямо заживо? Я слышал, их не только с покойников сдирают.

Отец фыркает: он-то выспросил все о скальпах еще на за-

ре сближения с Винсентом. Редфолл выразительно приподнимает густые брови, но кивает ньюйоркцу так, точно речь зашла об очевидных и скучных вещах.

– Сдирают, верно. Но мое племя всегда предпочитало другие расправы. Скальпирование было в ходу у наших соседей, мы же...

– Что?.. — Андерсен с опаской приглаживает свои довольно пышные волосы.

Редфолл отвечает джентльменской улыбкой и допивает пунш.

– Мы метки в стрельбе. Чтобы убить человека, нам не нужно обдирать его, по крайней мере, я такого не припомню. Впрочем, я забыл многое.

*...Но не все.* Глаза прирученного хищника, научившегося вести себя и под сводами церкви, и в бальной зале, и в салуне, выдают это тяжелым блеском. Блеск, подобный плещущейся бездне, устрашает многих в Оровилле, страшил даже в день, когда полуголового ребенка — последнего в племени — выманивали из леса. Бездны тогда не испугался один-единственный человек. Позже бездна ответила ему любовью, горечь которой до сих пор не может смягчиться.

...Я помню Дональда Редфолла — Старика. Стариком его прозвали задолго до того, как ему минуло пятьдесят, и вовсе не из-за ранней седины или привычки сутулить могучие плечи. Шериф Редфолл не просто поддерживал порядок. Он обладал разительным чутьем, что помогало ему отбирать рейн-

джеро́в себе под статью, и живым умом: если вмешивался в перестрелку и бросал распаленным горожанам пару фраз, конфликт нередко разрешался бескровно. Старика боялись за крутой нрав, но уважали за доброту и твердость. Отец гордился дружбой с шерифом, даже пытался просватать за него кузину, нашу с Джейн тетку из Сакраменто. Безуспешно: семью Старик не заводил, отговариваясь нежеланием подвергать кого-либо риску, ведь, как известно, за честность законника платит не он, а те, кто ему дорог. А потом пропали краснокожие Двух Озер и появился Винсент — еще не Винсент.

Даже выйдя с Дональдом Редфоллом из леса, маленький индеец шарахался от каждой тени и скалился на рейнджеров. Шериф забрал его в участок, а напарников отрядил искать следы нападения на племя: он еще придерживался версии о расправе. Когда под вечер мужчины вернулись, мальчик не проявил прежнего беспокойства. Он уже бормотал на своем языке, ел и с интересом изучал окружающие предметы — книги, чернильницы, патроны. Вопреки советам Старик не отправил мальчика в ближайший миссионерский приют, а временно оставил у себя.

Через пару дней краснокожий согласился надеть рубашку и штаны, в каких ходили белые дети, еще через день — впервые сам заговорил с шерифом. Это не был разговор в полном смысле: мальчик рисовал палкой на земле, жестикулировал и сбивался с родного наречия на обрывки услышанных и смутно понятых английских фраз. Тем не менее Ред-

фолл догадался: это попытка что-то объяснить про сороди-  
чей. Постепенно у Старика сложилась некая картинка — ту-  
манная, подбавляющая страху, но все же.

Выживший мальчик был, на языке яна, «*сидящим у под-  
ножья*»<sup>7</sup>. Отец, не найдя в младенце сходства с собой, взял  
другую жену, а прежнюю выгнал. И хотя не все соплеменни-  
ки разделили подозрения, женщина вынуждена была подчи-  
ниться и принять позор. Подрастающего ребенка сторонились;  
может, в конечном счете это его и спасло. Спасло от...  
чего?

Мальчик сказал Редфоллу, что в день перед *той ночью* —  
ночью исчезновения, — соплеменники волновались, ссори-  
лись. Необычно: большинство отличалось нравом, сходным  
с водами Двух Озер, даже конфликты вроде того, где мать  
обвинили в блуде, решали бескровно, в то время как у иных  
соседей незаконнорожденных душили в колыбелях. Так или  
иначе, мальчик заметил: что-то происходит. Мать подтвер-  
дила опасения, неожиданно велев провести ночь вне селе-  
ния. Она отправила его к Сросшимся соснам, тем самым,  
куда Джейн водила Андерсена. Там мальчик и ночевал, дро-  
жа от страха, не связан ли приказ матери с опасением, что  
его все же лишат жизни? Но никто не пришел за его кровью.  
Ночь была теплая, ласковая, мирная.

Сросшиеся сосны далеко, выше и восточнее селения, но

---

<sup>7</sup> Сидящий у подножья (инд. — *wa't'a'urisi*, англ. *sitting at the foot of the ladder*)  
— выражение, означающее незаконнорожденного.

мальчику казалось, он слышал голоса и видел пламя. Пару раз, просыпаясь, он замечал, как деревья в низине окутываются цветным дымом: шаман, наверное, жег травы, просил у духов какие-то ответы. Закралась даже обида: может, у племени праздник, куда не дозволено являться wa't'a'urisi? Но мальчик послушался матери: остался в убежище до рассвета.

Когда утром он вернулся, все выглядело заброшенным: поросло мхом и кустарником, покрылось прелой листвой. Будто тут никто не был давно, будто одна ночевка обернулась многолетним странствием неизвестно где. Жилища не сожгли, камни не обагрились, исчезли некоторые вещи. Племя ушло? Как бы оно сделало это незаметно? Ведь сон маленького изгоя был чутким. И мальчик нашел объяснение: духи, за что-то прогневавшись, стерли племя с лица земли, пощадили его одного. Охваченный тоскливым ужасом, он спрятался в руинах, пока его не нашли.

Ко времени, как Дональд Редфолл узнал все это, окончательные подтвердилось: белые не устраивали расправ, не могли и увести людей силой, по крайней мере, без шума. Слухи по городу поползли совсем безумные. Любопытные толпами начали ходить к Озерам, хотя особо и не прикасались к заросшим останкам жилищ. Это длилось недолго: вскоре кто-то там случайно, вероятно, выпив, сломал шею, и брошенное селение обрело дурную славу. Индейцев объявили погибшими, священники разных городских церквей отслужили за упокой их дикарских душ, и исчезновение пе-

рестали расследовать. Вопрос остался один — мальчик.

У него не было дома: лесная стоянка осталась последней в наших краях, родственные племена ушли в горы. У него не было имени: по законам яна, он не имел права назваться чужакам, представить его мог только родственник, друг или вождь. У него не было ответа, что делать дальше, да и могли такой ответ найтись в шесть лет? Все решилось просто: услышав вопрос заезжего миссионера: «Хочешь жить в церковном приюте?», мальчик прижался к шерифу и впился в край его перекроенного из старого мундира плаща. Не отпустил, пока миссионер не ушел. Так Дональд Редфолл — может, впервые в жизни, — поступился принципами. Отец говорит: «Старик сразу, накрепко привязался к чертенку. Учужал родную душу». И он прав.

Люди, знающие законодательство Штатов, любят посмеяться над парадоксом: недавние рабы у нас уже близки к «полноценным американцам» (по крайней мере, на бумаге<sup>8</sup>), в то время как свободы индейцев заканчиваются на территории резервации. Случаев, чтобы белые усыновляли краснокожих детей, — единицы, и Редфоллу пришлось пустить в ход все старые связи, добиваясь разрешения. Способствовали этому и мой отец, и мэр. Они добились: мальчик получил все права белого, а с ними имя — «Винсент». Так звали ко-

---

<sup>8</sup> В 1866 г. конгресс США принял закон, наделяющий гражданскими правами всех урожденных жителей страны. Закон распространялся как на белых, так и на цветных, но не касался индейцев. Индейцы получили равные права лишь в 1924 г.

го-то из европейских предков Старика, и это, видимо, было созвучно с чем-то из языка яна: по крайней мере, приросло с легкостью.

Поначалу Редфолл не отдавал мальчика в школу и учил дома, но спустя полгода, когда речь Винсента стала непри-  
нужденно беглой, а манеры окультурились, перестал за него опасаться. Винсент прижился, был на хорошем счету, проникся неожиданным интересом к Закону Божьему, а вскоре принял крещение. Поладил он и с другими детьми: слышанные о «страшных ужасах» Двух Озер, они видели в нем скорее героя, с которым надо считаться, чем чужака. Цвет кожи и длина волос не были им важны, что, впрочем, не удивительно для наших краев: в школах Оровилла встречаются и метисы, и китайцы, и русские — дети искателей счастья со всего мира. И большинство их умеет за себя постоять.

Винсент вырос, и таяли сомнения, чем он будет заниматься: ему нравилась работа законника. Все свободное время он искал общества Старика и рейнджеров, рано освоил стрельбу и езду верхом, обладал быстрой реакцией. Он, как оказалось, не потерял и навыка читать следы. Его не допускали к серьезным делам, но и не гнали, иногда прислушивались к его рассуждениям.

На войну Дональд Редфолл — ярый сторонник Линкольна — ушел сразу после «Призыва 75 000»<sup>9</sup>. Он оставил нашим

---

<sup>9</sup> «75 000 добровольцев Линкольна» – прокламация президента, опубликованная 15 апреля 1861 г. И призывающая добровольцев в армию США. Была издана

родителям наказ присматривать за пятнадцатилетним Винсентом, а законникам — вводить его в курс дел. К возвращению Старика в конце 1864, — с легким ранением, после того как грядущее поражение Юга стало очевидным, — Винсенту было уже девятнадцать, он влился в разношерстную компанию рейнджеров и снискал в городе уважение. Его звали *достойным красным сыном белого отца*. Именно тогда, чрезвычайно гордясь, Дональд Редфолл подарил ему свой «вессон». В Оровилле, в Калифорнии, на Севере многие были опьянены победой, предчувствовали славные перемены. В дни возвращения горожан с фронТамы с Джейн в числе других девочек плели им венки.

Как мы ошибались. Все ошибались, веря: впереди мир и счастье.

Лето Беззакония — под таким названием оно осталось у нас в памяти — пришлось на 1868 год. Лето Беззакония — лето, когда низкую ограду нашего особняка заменили той, что выше многих деревьев, а стрелять научили уже всех, даже прислугу. Лето Беззакония — единственное лето, когда отец запретил Джейн «ее четверги».

Дикие Псы Счастливого Бэна Бинкотта объявились близ Фетер в начале июня; тогда никто не связал разрозненные нападения на суда с какой-то бандой. Грабежи были жестокими: забирали все, не оставляя живых, особо зверски рас-

---

на следующий день после падения форта Самтер и стала формальным объявлением войны Югу.

правлялись с неграми. Пароход потерял и отец, он подгонял Редфолла рыть носом землю. Но шериф не успел сделать ничего.

Смерть Старика не была геройской, хотя наверняка стала бы, выдайся ему шанс побороться за жизнь. Шанса не дали. трое головорезов, выйдя из переулка, просто всадили в шерифа по пуле; вместе выстрелы разворотили его грудь и убили наповал. Дикие Псы все были меткими стрелками; банда состояла, как потом выяснилось, большей частью из озлобленных конфедератов. Под личиной Счастливого Бинкотта, по слухам, вовсе скрывался кто-то из генералов Юга. Калифорнии они словно мстили — за приверженность Северу, за то, что война обошла нас.

На несколько дней, — пока тщетно искали убийц, пока готовили похороны, — банда притихла. Псы выжидали намеренно, чтобы объявиться прямо во время погребения шерифа. Их было уже не трое, а больше полудюжины; Счастливчик Бинкотт — белокурый, кудрявый, с голубыми глазами и джентльменской улыбкой — возглавлял их. Какое-то время бандиты — в Оровилле еще не знали их лиц — скромно стояли в стороне от скорбной процессии, их приняли за любопытствующих проезжих и не спросили ни о чем. А потом они открыли по толпе стрельбу.

В той перестрелке погибли трое лучших законников Старика и несколько горожан. Рассказ о Кладбищенской бойне я знаю от отца: он, конечно, провожал друга, стоял у гроба,

был ранен в плечо. Псы не ставили цель убить всех *сразу*, хотели другого. Они своего добились: город обмер. Здесь уже не ходили по улицам просто так, не засиживались в салунах и не заговаривали с незнакомцами. Ведь, уходя с кладбища, Счастливирик Бинкотт плюнул в разверстую могилу шерифа, бросил остолбеневшим людям: «Глядите в оба. Псы всюду» и клацнул зубами.

Уцелевшие рейнджеры пытались дать отпор, но наглые нападения — в городе, на реке и в окрестностях — сводили их усилия на нет. Законников оставалось все меньше: их убивали, они сбегали, один наложил на себя руки, оставив послание, где каялся перед всем Оровиллом за то, что не сберег его. Помощь не шла; власти штата не спешили даже прислать шерифа. В Сакраменто и дальше уже знали зверства Псов: они промчались по многим городам, прежде чем почему-то обосновались у нас. Почему? Возможно, из-за военного прошлого шерифа. Возможно, из-за угасающей, но еще не угасшей славы «золотого города». Возможно — как Божья кара.

К июлю рейнджеров осталось трое, а речная вода все чаще мутилась багрянцем, как раньше бывало лишь в войны с индейцами. Лето Беззакония подвигло отца на безумство: вспомнить прошлое, взять «винчестер». Он был готов сам выйти на улицы Оровилла — Города Без Шерифа. Был готов, но последний, кто еще держал закон на своих плечах, именно тогда пропал.

Шептались, будто Винсент Редфолл предал покойного отца, сбежал. Другие говорили, Псы поймали его и утопили. Третьи — что он сам сиганул в реку. Но вскоре эти слухи вдруг затмил другой, уже не об индейце. О золоте, о двух груженных им теплоходах, что движутся по Фетер к Сакраменто и скоро зайдут в наш порт. Новое месторождение — впервые за пять лет! Жила в самом сердце гор! И жила, и грядущая переправа должны были остаться в строжайшем секрете, но тайна просочилась... и расплзлась шире, чем река в половодье. О золоте говорили все.

...В Ночь Пуль и Стрел отец запер нас и велел не зажигать свет, не подходить к окнам, — но мы все равно слышали пальбу и видели всполохи, обагрывшие небо. В Ночь Пуль и Стрел «золотые» пароходы действительно двигались по реке, а банда поджидала их на узком участке русла. В Ночь Пуль и Стрел Диких Псов не стало. Потому что в вечер перед нею Винсент Редфолл, краснокожий сын белого шерифа, вернулся и нанес боевую раскраску.

Отец говорит, он напоминал дьявола — с кровавыми полосами через лицо, с пылающим взглядом. На нем по-прежнему была одежда белого, на шее — крест, на груди — звезда, но все это казалось как никогда чужим. Винсент пришел из леса: отец, даже не будучи следопытом, понял это по листве и мху, налившим к сапогам. Это же подсказал лук у Редфолла за плечами. *Лук с каменными стрелами.* Белые ничего не тронули в брошенном селении, значит, Винсент нашел

оружие именно там. Нашел и зачем-то взял, хотя револьвер тоже был при нем.

Винсент провел в лесу немало времени и там, как сам объяснил, «искал свою душу». Мне до сих пор не совсем ясно, что индейцы вкладывают в это понятие, но мужество преодолеть горе Редфолл нашел. План был злым и смелым, я бы назвала его самоубийственным. Так считает и отец, одобрявший это самоубийство и сыгравший там немалую роль.

...В тот вечер Винсент, уподобившись Полу Ревиру<sup>10</sup>, стучал в двери прежних друзей и искал отчаявшихся рейнджеров. Звал вступить с Псами в бой в последний раз. Винсент сказал, что скоро, после полуночи, все или почти все бандиты соберутся в одном месте, и нужно всего-то побольше патронов да метких глаз. Ведь «золотые» пароходы, хоть и существовали, на деле были списанными посудинами моего отца и должны были везти не самородки, а стрелков, тех, кто не устанет раз за разом перезаряжать стволы. Редфолл перешагнул через индейское благородство, вернул Счастливику подлость: запланировал атаку и второго отряда. Эти всадники должны были подойти к Псам со спины. Винсенту поверили. Фронтальной отряд, возглавленный им, состоял из вось-

---

<sup>10</sup> Пол Ревир (1734—1818) – герой Американской революции. В ночь с 18 на 19 апреля 1775 года, накануне сражений при Лексингтоне и Конкорде, Ревир верхом проскакал к позициям повстанцев, чтобы предупредить их о приближении британцев. Благодаря Ревиру патриоты успели подготовиться к встрече с королевскими войсками. Его подвиг воспет поэтом Генри Лонгфелло в стихотворении «Скачка Пола Ревира».

ми человек, замыкающий — из целой дюжины.

Все прошло так, как было задумано: на «золотые» пароходы Бинкотт бросил большую часть людей и явился сам. Стрелки Винсента пострадали в первые минуты столкновения, потому что второй отряд, тот, где был отец, чуть запоздал. Тем не менее в бою уложили большинство бандитов; краснокожий с «новыми рейнджерами» прорвал остатки разрозненной своры, соединился с замыкающими и подорвал «Марию» и «Луизу» — отцовы развалюхи. Взрывом уложило почти всех Псов, кто к тому времени еще стоял. Отец любит вернуть, что его тогда контузило, но следов что-то не заметно.

Самое яркое впечатление отца от Ночи Пуль и Стрел — что, когда у Винсента кончились пули, многих он уложил из лука. Стрелу точно в лоб получил и Счастливчик Бинкотт. В дополнение к кровавому раскрасу и дьявольскому виду это, наверное, смотрелось эффектно, раз стало популярной городской легендой. Так или иначе, банду уничтожили. Ее остатки не задержались в городе. Настал мир, а почти все герои, поддержавшие Редфолла, были торжественно приняты им в рейнджеры, правда, с поправкой «временно». Временным Редфолл считал и свое пребывание на должности. Оказалось, многие думали иначе, и большинство, как и часто в нашей демократичной стране, победило.

Шериф — выборная должность. Если «своих» кандидатов нет, власти присылают ставленника, но и его полномочия

спустя какое-то время должны одобрить горожане. Именно с просьбой составить прошение в округ Винсент обратился к мэру, когда тот несолидно округлил глаза и сообщил: «У меня есть кандидат, и не я один голосую за этого парня. Это ты, сынок». Вскоре Редфолл надел звезду уже законно. На улицах с тех пор тихо, насколько может быть тихо там, где правит золото. Конечно, окружные чиновники не слишком довольны происходящим, но пока мэру удается держать их подальше от наших дел и, прежде всего, наших законников.

Забавно... горожане видели Редфолла с кровавым боевым раскрасом. Видели его с луком, — а ведь из таких здесь не стреляли много лет. Видели его со скальпом Счастливи́чика Бинкотта, болтающимся на луке седла; поговаривали, индеец содрал с трупа вожака «Псов» не только волосы, но и часть лица (хотя упорно отрицает существование такого обычая у яна). Горожане видели *суть* Винсента Редфолла — законника и доброго христианина, но краснокожего. Дикаря. И все равно абсолютное большинство выбрало его шерифом. Сейчас — третий год срока.

...Винсент рассказывает все короче и суше, не в тех красках, в каких помню я. Но миссис Андерсен бледна и прижимает ко рту ладони; мистер Андерсен мрачно-взбудоражен и уважительно похмыкивает в усы; Сэм тоже жадно слушает, задавая иногда вопросы и, кажется, не веря ушам. Я бы тоже не верила: ни одна желтая газета, ни один роман не вместит столько событий — страшных и невероятных. Редфолл

завершает историю:

— Я отомстил за отца; это все, чего я желал, и теперь я в мире с собой.

Повисает тишина, нарушаемая только музыкой: квартет снова принялся за вальсы, уже не европейские, а американские. Я выискиваю Джейн, но то ли она упорхнула танцевать, то ли вышла на воздух... не спешит на помощь. Когда я смотрю на мистера Андерсена, тот тянется хлопнуть шерифа по плечу, но не решается.

— Что ж, — звучит преувеличенно бодро, — справедливый поступок, диковатый, но... справедливый. Вы славный малый, Винсент, и невероятный смельчак.

Флора Андерсен учтиво прибавляет:

— Вы молоды, но видите мне человеком, умеющим добиваться целей. Ваша история станет поучительным примером для нашего сына.

Сэма, силясь скрыть досаду, жмет плечами. «Я не мальчишка», — вот что выражает лицо, а я с невольной улыбкой вспоминаю, что Андерсен младше меня на год, хоть это и незаметно. Винсент тихо фыркает: его вряд ли впечатлила лесть белых, да и едва ли ему приятна — и вообще нужна — сторонняя оценка того, что сломало его жизнь.

— Чужие истории — не лучшие учителя, мэм, — наконец размеренно изрекает он. — Учиться следует на собственных. Вы не...

Жалкое подражание Штраусу перерастает в бодрые ак-

корды — столь громкие, что Винсент осекается. Оживление катится по зале, молодежь смеется, и я узнаю настырный мотив. Время кончается, и музыканты знают, чем завершить вечер. Под нашими сводами разливается...

— Кейкуок, господа! — звенит рядом. — Кейкуок!

Идемте со мной, о Черная Пантера!

Мгновенно появившись, Джейн выскакивает перед шерифом и отвешивает ему шуточный книксен. Винсент изумленно поднимает брови.

— Мисс Джейн? Я...

Она, посмеиваясь, хватает его под руку и волочет прочь, туда, где уже строятся пары. Обернувшись, поведя оголенным плечом, сообщает Сэму:

— Простите, мистер Андерсен, этот индеец сегодня крайне неучтиво опоздал. А ведь я обещала ему танец!

Скоро я снова буду с вами!

Они сливаются с толпой под сконфуженными взглядами моих родителей и удивленными — Андерсенов. Отец тут же бормочет о том, что Джейн «дикарка, хотя на самом деле прекрасно воспитана»; мама, явно не желая участвовать в оправдании дочери, сообщает, что ей необходимо проверить, как там ужин. Я жду, поглядывая на расстроенного Сэма: может, вedomый дружеской симпатией или хотя бы желанием наблюдать за Джейн, он пригласит меня?.. Но он остолбенел; продолжает стоять, когда отец предлагает Андерсенам «допить, наконец, пунш, ведь он повышает аппетит!».

Взрослые уходят. Мы остаемся вдвоем.

Славный танец — кейкуок. Насмешка над всем, что танцевалось до него. Дурашливая бравада, торжественный променад и чудесный простор для флирта — ведь можно держаться за руки, строить гримасы, подталкивать партнера и даже легкомысленно клюнуть его в щеку. Главное — не сбивать шаг, не мешать другим, ведь в какой-то степени кейкуок, что танцует молодежь в бальных залах, — еще и марш. Джейн с ее лазурно-лимонным платьем кажется такой чудной рядом с Винсентом Редфоллом. Он выбивается тенью среди пестрых сюртуков, но танец знает. Порой смеется, хотя в другие мгновения медно-смуглое лицо принимает привычное выражение — строгое и настороженное. Смотрится это довольно комично.

– Неожиданный выбор, — слышу я напряженный голос Сэма. Он хмурится. — Я не полагал, что они близки...

Злится. Сердце колет предательская радость. Я могла бы сказать сейчас что угодно, любую чушь, подогревая эту злость. Но... я знаю свою Джейн. Знаю себя. Мы уже говорили о Винсе и о том, что моя сестра для него — просто «немного краснокочная». А я никогда не делаю подлостей. Мягко коснувшись локтя Сэма, я отзываюсь:

– Винсент тренировал ее в стрельбе по просьбе отца. Вообще бывал у нас часто, пока не стал шерифом. Он старше лишь на шесть лет, мы с Джейн считаем его... кузенком или вроде того. Не берите в голову глупости, мистер Андерсен...

Сэм.

«Ей нравитесь вы». Но на это не хватает мужества, и я молча отвожу глаза.

– Она назвала его Черной Пантерой.

Невольно у меня вырывается вполне искренний смех.

– Она считает, что не бывает индейцев без подобных кличек. Сама придумала. Его так не зовут. Джейн...

– Удивительная.

Как тепло он произносит это, с какой тоской смотрит на мою сестру и шерифа, замерших друг против друга. Кейку-ок кончается, комичная процессия уже описала по залу полукруг. Джейн хватается Винсента под руку, кружится с ним. Рядом вдруг раздаётся глухой стон.

Когда я поворачиваюсь, Сэм стоит, согнувшись, и яростно трет лоб. Дрожащие пальцы сжимают локоны, зубы стиснуты, и во всем лице — невыносимое страдание. В неожиданном даже для себя самой порыве я склоняюсь, беру его за плечи, тяну ближе. Он поддается, слегка опираясь на меня. Прижимается. Точно ищет спасения.

– Мистер Андерсен? Сэмюэль? Господи... вам дурно?

Он дрожит. Он очень холодный, как ледышка или... мертвец? Или я сама похолодела? Приглаживаю его иссиня-черные вихры, накрываю своей рукой руку и тихо предлагаю:

– Идемте на воздух.

Но он уже приходит в себя и выпрямляется — резко, пружиной. На прикушенных губах знакомая улыбка; только

бледность и потемневшие глаза выдают, что буквально пять секунд назад что-то было не так. Сэм оправляет манжеты, затем ворот и делает глубокий вдох.

– Боже, мисс Бернфилд. — Его голос ровен. — Эмма... вы совершенно правы, я позволил себе лишние домыслы и лишний пуш, наверное. Мне лучше. Благодарю вас. И...

Спохватившись, я убираю руку с его волос. Румянец заливаает щеки и становится совсем невыносимым, когда Сэм дарит мне новую улыбку.

– И спасибо... за заботу.

Киваю, пытаюсь согнать краску со щек. Смолкает музыка, пары расходятся. Джейн подлетает к нам — без Винсента. Она сияет, явно не заметила, как Сэму только что стало дурно... От ревности? Джейн как ни в чем не бывало говорит: «Вы стали так угрюмы, идемте же есть». Остается только подчиниться, тем более, гостей уже созывают в столовую. Все время ужина я с тревогой смотрю на Сэма. А он — только на Джейн.

...Через несколько дней, на вечере уже у Смартов, моя сестра танцует кейкуок только с Сэмом и в шутку целует его в губы. После бала Андерсены зовут наших родителей на первый «серьезный разговор».

Джейн остается жить семь дней.

## Здесь

Помещение заполняется слишком стремительно, чтобы слова «К Жанне нельзя!» услышали. Гостей около двух десятков; люди напирают друг на друга, вглядываются, впрочем... люди ли? Я больше не уверена, что могу называть существ вроде Кьори и Цьяши людьми. Хотя как их звать еще — растениями, исходя из предания об их происхождении? Еще нелепее. Интересно, как звала их Джейн?

Существа — все с волосами разных оттенков зелени, со смуглой кожей, смутно напоминающей кору. То, что на них надето, похоже на примитивные наряды дикарей, но соединяется с плотными доспехами, у нескольких — даже с кольчугами из крупных чешуек. Большинство вооружены ножами и луками, у кого-то дубины и топоры. Гости выглядят угрожающе... и тем разительнее их полные радости взгляды, устремленные на меня.

— Жанна, — шепчет одно из существ — статный мужчина, чьи темно-зеленые волосы убраны в сложную прическу. Среди прядей пробиваются незнакомые черные цветки. — Мы успели попрощаться с тобой. Слава Звездам, ты цела.

Он опускается передо мной на колени. Глаза — черные, как у всех здесь, — неотрывны от моего лица, у них интересный восточный разрез. Мужчина красив, а еще от него необычно пахнет, запах цветочный. Это не похоже на пар-

фюм, завозимый в Оровилл на радость местным девушкам; от незнакомца тянет тяжелыми, сладкими, ничем не оттененными дикими соцветиями. Я заворожена. Невольно подаюсь ближе, отвечаю на горячее пожатие сильной руки. В тот же миг слышу мольбу Кьори, вновь севшей на постель:

— Молчи... — похоже на шелест ветра. — Молю, молчи с *ним*, или он узнает...

Наваждение проходит, возвращается страх. Я откидываюсь обратно на постель, прикрываю глаза, чтобы спрятаться от мужчины. Кьори заговаривает с ним:

— Зачем ты пришел, Вайю Меткий Выстрел? Зачем пришли все они?

— Я не смог удержать их, — отзывается тот. — Да не особенно и пытался. Им нужна вера, нужна и мне. Благодарю за то, что мы не допустили сюда большинство.

— Вера? — Цьяши, тоже остающаяся рядом, хмыкает с неприкрытым презрением. — Тебе придется разочароваться, Вайю из рода Черной Орхидеи. Вам всем. Потому что это...

— Не время, — обрывает Кьори. Ее голос подрагивает. — Вы...

— Что с тобой, Жанна? — Мужчина игнорирует обеих девушек. — Ты ранена?

«Я не Жанна». Вот что я должна ответить, вот что правильно. Но я вижу блеск оружия всех этих существ, страшный блеск, с которым не вяжется затравленное, усталое, но

оживленное надеждой выражение глаз. Во рту сухо. Я лихорадочно думаю. Что делать? Что если я признаюсь, кто я, и они... бросятся? Если убьют в ярости? Если не поверят, не отпустят, будут пытаться? Цьяши не вступится. И хрупкая Кьори не сможет. А мужчина, Вайю? Он явно вожак. Они позволяют ему говорить первым. В том, как он произносит имя, чужое имя, слышны тревога и... нежность? Кем он приходился сестре? И как поступит, узнав, что держит за руку *подменьша*? У него на поясе кинжал, за спиной — самострел, в волосах перья, не зачарованы ли они? Он так красив и одновременно страшен. И прочие не менее страшны в своей слепой вере.

— Милая Жанна, милая... прошу, улыбнись, улыбнись как раньше, большего не просим.

Рядом появляется женщина, почти старуха. Лицо цвета луковой шелухи, из-за прически — светло-зеленых, зачесанных в высокий хвост прядей, — голова вся похожа на луковицу. Ростом женщина примерно как Цьяши, сухая, быстрая, а на поясе два ножа. Беспokoйные глаза мечутся по моему лицу, в глубине словно вспыхивают иногда крохотные звездочки.

— Помнишь, — говорит она, — ты дала мне лоскут своего платья? Вот он. — Показывает запястье, обвязанное грязной тряпкой. — С тех пор я не получила ран.

С тех пор ничего не боюсь.

— Молчи, — снова слышится шепот Кьори. — Молчи...

или они отчаются.

Вайю из рода Черной Орхидеи смотрит на нее, она смолкает. Он что-то услышал?.. Его губы сжаты. Даже если услышал, что он мог понять?

— Послушай. — Женщина с «луковой» прической заглядывает мне в лицо. — Ты — наше благословение. Не можешь умереть. Не можешь. Ты нам нужна.

— Нужна... — вторят стоящие сзади.

Они напирают, толкаются. Я смотрю на них — мужчины и женщины разных возрастов, высокие и низенькие, плечистые и хрупкие. Некоторые тянутся ко мне, другие шипят на них и одергивают, бросая: «Она слаба. Не трогай...». Паника захлестывает все сильнее. Я не Жанна. Не Жанна, и они пришли не ко мне, не мне предназначены их тревога и любовь. Кьори кладет руку на мое плечо, эта рука дрожит. Что я должна сделать? Что?

Если...

— Пропустите! — по подземелью катится вдруг новый голос, низкий и рокочущий.

— С дороги! — вторит другой, высокий и гортанный.

— Прочь, зелень... — прибавляют еще несколько, сливающиеся в злой рык.

Те, кто первыми пришел ко мне, переглядываются, вздрагивают, некоторые торопливо расступаются. Спокойными остаются лишь двое у моей постели — мужчина и старушка. Цьяши бормочет ругательства. Вновь прибывшие прорубают

в толпе путь, путь ко мне. И уже не нужна новая подсказка Кьори, сдавленный шепот:

– Молчи... Молчи ради себя же. Они тебя убьют.

Я и так бы потеряла дар речи.

Насколько «зеленый» народ близок к людям, настолько далеки от них новые гости. Двое впереди более всего напоминают тотемы индейцев: столь же высоки, могучи, столь же... звероподобны. Но если, вырезая лица тотемам, краснокожие пытаются передать мудрость духов, то пристальные глаза незнакомцев полны лишь настороженности, презрения и гнева.

Зная вкратце о «звериной» ветви, я безошибочно определяю принадлежность обоих: род Волка и род Орла. Второе существо от первого отличают лишь перья, острый клюв и крылья за спиной, крылья, которые могли бы служить плащом, — так они огромны, задевают землю. Оба мужчины плечистые, обнажены по пояс, броней защищены только их ноги. У существа из рода Орла они венчаются огромными желтоватыми когтями. В наступившей тишине двое подходят к моей постели. Я жду, что они потребуют от Вайю уступить место, но «звериные» лишь переглядываются с «зеленым» и мирно кивают, почему-то не решаются дерзить.

– Эйро, Ойво, — приветствует он. На других пришедших, оставшихся в толпе, даже не смотрит. — Кьори Чуткое Сердце сказала, мы выбрали не лучшее время, чтобы прийти.

Человек-волк — видимо, Эйро, — щурится на замершую

девушку.

— «Кьори сказала»... — низко повторяет он. — А что сказала сама Жанна? Она нам что же... — морду ощеривает двусмысленная улыбка, — не рада? Почему молчит?

Мне не нравится услышанное, и не только потому, что обо мне — точнее, о Джейн — говорят как об отсутствующей и при этом неотрывно глядят в упор. У человека-волка зеленые глаза, шерсть отлиывает платиной. Когда он склоняется, я замечаю на шее украшение на шнурке — продырявленную монету, серебряный доллар.

Подарок Джейн?..

— Мы скучали по твоему запаху, — заявляет вдруг Эйро, и клыки блестят за приподнятой верхней губой. — И по тебе *всей*. Ты обещала остаться навсегда, а потом сбежала... странный поступок, ты обычно держишь слово.

Когтистая лапа тянется к моему поцарапанному лицу. Цьяши с размаху бьет по ней, прошипев: «Прекрати, занесешь ей заразу!», но меня волнует не возможное прикосновение чудовища. *Навсегда?..* В висках стучит. Моя Джейн пообещала этим *тварям* остаться в их мире навсегда? Пообещала и пробыла здесь три дня, а три наших дня — что-то вроде их двенадцати. Все это время мы искали ее по округе. Исчезновению предшествовало, казалось бы, счастливое событие, такое счастливое, что...

Такое счастливое, что Джейн решила сбежать на войну и никогда, никогда не приходить больше домой. Ко мне. К ма-

ме и папе. К Сэму.

У меня вырывается сдавленный всхлип; его принимают за стон боли. Кьори начинает удобнее устраивать меня на постели, а человек-орел, Ойво, одергивает товарища: берет за плечо своей покрытой оперением рукой, хорошенько встряхивает и вкрадчиво напоминает:

— У нас было две цели, Эйро с Дикой Тропы. Первая — убедиться, что Жанна жива, вторая — задать ей два вопроса. После этого мы собирались уйти, мы же... — не могу сказать точно, но, кажется, орел брезгливо ухмыляется, — не зеленый сброд, которому лишь бы поваляться у Рыцаря в ногах. Мы же понимаем, что ей необходим отдых?

Цьяши подпрыгивает от возмущения, открывает рот, но Вайю из рода Черной Орхидеи, встав с колен, властно осаживает ее:

— Не поддавайся. А то ты не знаешь эту птичку.

«Птичка» отвечает учтивым кивком:

— Тебя не спрашивали, цветочный куст. Не нужно злиться, никто не отнимет твоего *первенства*. Но будь щедрее, Жанна наверняка соскучилась и по другим соратникам... Верно?

Ойво смотрит прямо на меня; его глаза — такие же серебристые, как доллар на шее его приятеля. Это колючий, требовательный, но не угрожающий взгляд, и, то ли испуганная, то ли вновь замороженная, я киваю орлу, даже пытаюсь улыбнуться. Я еще не знаю, что иногда самая длинная и страшная ложь начинается не со слов, а с простого кивка.

— Задавайте вопросы. — Голос Черной Орхидеи холоден, кулаки сжаты. — И уходите. *Все.*

Последнее адресовано толпе, где окончательно смешались и переругались «зеленые» и «звериные». Я замечаю среди последних человекоподобного кролика, крокодила, ягуара, все они едва ли довольны услышанным. Волк и орел перемигиваются. Первый слегка кивает второму.

— Прежде чем уйти, ты обещала, что скоро расскажешь нам о Мэчитехьо Злом Сердце нечто важное. Ты узнала секрет?

Ойво говорит громко, внятно, и слова действуют на собравшихся. При имени врага они дрожат и скалятся, при слове же «секрет» все в едином порыве подаются вперед. Теперь в глазах не только тревога и благоговение, там — вера, и я готова умереть прямо сейчас, умереть, чтобы не лгать. Кьюри бледнеет. Кажется, она не подскажет, она ничего не знает. Я зажмуриваюсь; все силы уходят на одно — владеть лицом, скрыть, насколько я боюсь тех, кто окружил меня. Мне даже страшнее, чем было, когда я пряталась от теней. Экиланы могли убить меня, ненавидя ту, на кого я похожа; эти же существа убьют меня как предательницу, лишившую их *идола*. Их больше. Они не ограничатся одной стрелой. «Я не Жанна. *Не Жанна!*» — вопль рвется из груди, но я его давлю. Под серебристым взором орла, под десятками других взоров я пытаюсь спасти свою жизнь и во второй раз отрезаю себе путь назад.

– Нет. — Удастся выровнять тон, посмотреть на Ойво прямо. — Не узнала. И была ранена.

Вайю, внимательно меня слушающий, хмурится; лицо принимает удивленное, затем скорбное выражение. Он вдруг отступает, прячет за спиной руки, наверняка сжатые в кулаки. Слышу тяжелый вздох, но не даю себя сбить и продолжаю:

– Я пыталась. Но мой план не сработал.

– План? — Глаза Эйро сужаются, искря любопытством. — Какой план? Расскажи!

Я сама загнала себя в яму, сама оборвала последнюю веревку и теперь обречена. Не стоило, не стоило углубляться. Слов ждут все, не только нависшие надо мной орел и волк. Пасть одного, хищный клюв второго — один вид их, вместе с флером *звериного* запаха, тошнотворен. У меня нет ответа. Но неожиданно меня выручает та, от кого я этого не жду.

– Да что вы?.. — Цьяши нагло ударяет кулаком в плечо орла и отпихивает его. — Зачем обсуждать неудачные планы? Ну провалилась ее вылазка, кто не проваливался? Болтают, что он просто ее выследил раньше, чем она к нему добралась.

Торопливо цепляюсь за эту версию, киваю, более всего на свете боясь новых вопросов:

– Именно. Он... нашел меня, я едва ушла. И меня ранили каким-то... волшебством. Я с трудом добралась домой.

Некоторые сзади ахают.

— О Звезды... — выдыхает старая женщина с волосами, похожими на лук. — Что бы мы делали, если бы тебя не стало...

Кто-то шепчется, кто-то взбудораженно рычит, кто-то всхлипывает. Кьори сильно-сильно прикусывает губу, мрачна и Цьяши, которой я пытаюсь благодарно улыбнуться за неуклюжее, но напористое заступничество. Она не видит этой улыбки.

— Что ж, — тихо изрекает Эйро. — Не узнала. Жаль. Тогда второй наш вопрос по поводу... *последнего разговора*. Ты не переменяла решение, Жанна?..

Ойво спасает меня, прежде чем я успела бы снова запаниковать. Он напоминает:

— Мы все еще хотим в твой мир. За стреляющим оружием. Оно нужно нам в борьбе, и если бы ты уговорила волю Омута пропустить нас с тобой, мы были бы благодарны. В отличие от большинства... — Он опять обводит толпу, — мы не боимся, какими бы жестокими ни были твои сородичи. Мы возьмем, что нам нужно, и уйдем, и...

Я не владею виртуозным даром угадывать обман. Обмануть меня не многим сложнее, чем одурачить лысого джентльмена, скупающего у заезжих торговцев все подряд «средства для чудесной шевелюры», или ребенка, которому приятели предлагают волшебные бобы за доллар. И все же что-то в словах тревожит; на мысли наводит и то, как подобралась Кьори. Если при вопросе о тайне Мэчитехьо я не

могла рассчитывать на подсказку, то здесь получаю ее сразу: делая вид, что поправляет волосы, Кьори едва уловимо качает головой. «Не пускай их!» — вот что она немо, испуганно говорит.

Я ищу ответ, за который не буду растерзана, но меня освобождают от поисков. Один из присутствующих, — казалось бы, самый невозмутимый, Вайю, — буквально взрывается. Вновь подступив, он впивается взглядом в звериных; черные цветки в волосах источают еще более резкий запах, чем раньше.

— Не верю. Вы все еще не отказались от затеи? Жанна все вам объяснила.

— Объяснила. — Ойво отвечает мирно, но в глазах нервный блеск. — Но прошло столько времени... Вдруг передумала?

Тон не вводит Черную Орхидею в заблуждение, он продолжает смотреть прямо и зло. Двое смотрят в ответ. Вайю оглядывается на толпу, кидает пустой взгляд на меня и, точно прочтя мои мысли, качает головой:

— О нет. Я знаю *ее* достаточно, она не передумала. И то, что вы не боитесь этого мира, не делает его для вас менее опасным. У людей короткий разговор с не похожими на них существами: они открывают стрельбу. А вы еще нужны движению.

Ойво раздраженно качает крылом и, видимо, не переборов себя, переглядывается с товарищем. Эйро, подавшись

вперед, вдруг бесцеремонно тянет когтистую руку. Он снова улыбается, так, что видны ощеренные клыки.

— Храбрейший из этой зелени... лучший. И все равно трус.

Пальцы тянутся к черному цветку в волосах Вайю. Откуда-то я почти знаю: это *запрещенный* жест, жест-вызов. Знаю, еще до того как рука — жилистая и смуглая — молниеносно перехватывает чужую, когтистую и заросшую. Сжимает — и волк шипит от боли. Когда хватка разжимается, я вижу: часть шерсти на этом месте слезла, а кожа обожжена.

— Не забывай, кто я, — вкрадчиво проговаривает Вайю. — Не забывай: мы союзники. И не забывай... — интонация едва уловимо меняется, становится угрожающей, — мы отстаиваем *эту* землю. Другой у нас не будет.

— Не будет, — повторяет Эйро, растирая руку, и хочет что-то прибавить, но опять натывается на взгляд крылатого друга. Предостерегающий взгляд.

— Ответь им. — Вайю неожиданно разворачивается ко мне. Он не произносит имени «Жанна». — Объясни то, что возможно объяснить, и давай прекратим это.

— Ей дурно, — робко вмешивается Кьори. — Вы и так...

— И все же. — Вайю неприкрыто над нами насмехается. — Пара фраз ее не убьет. Она ведь у нас крепкая девочка... не так ли?

Догадался. Подозрение, вспыхнувшее, еще когда он от-

ступил от постели, окрепло. Он знает тайну, но почему-то не выдает. Щадит меня?..

– Послушайте. — Мне стоит невероятного труда владеть голосом. — Послушайте, он прав, и об этом говорилось не раз. В мой мир лучше не приходить чужакам в таком обличье, в моем мире на двух ногах ходят только люди. У вас не получится просто взять оружие, не получится ничего, вас могут убить, и от этого будет хуже общему делу.

«...Или вы кого-то сожжете». Я не делаю таких предположений, хотя именно этого, вероятно, опасалась Джейн. Теперь нужно пустить этим двоим пыль в глаза, так, чтобы сейчас они утихомирились. А ничто не пускает пыль в глаза лучше, чем...

– Но я подумаю, возможно ли пронести оружие сюда. Я попытаюсь.

Ничто не пускает пыль в глаза лучше, чем обещания, даже отсроченные. И ничто так не выдает двойное дно в чужих желаниях, как иллюзия уступки. «Звериные» недовольны, и вовсе не тем, что мои рассуждения расплывчаты. Досаду вызвало другое.

– И все же лучше бы мы сами туда... — начинает волк, но орел его одергивает. Серебристые глаза устремляются на меня, а спустя мгновение Ойво склоняет голову.

– Что ж. Славно. Благодарим, Жанна. Не смеем более тебя тревожить. Отдыхай.

– Отдыхай, — вторит Эйро и все же гладит меня по ще-

ке кончиками теплых когтистых пальцев. С трудом заставляю себя не отшатнуться, молча смотрю на покачивающийся доллар на его шее. — Но мы еще вернемся к разговору... думаю, не раз.

— Эйро! — окликает его Черная Орхидея. — И прочие! Аудиенция окончена.

— Пора идти. Дела не ждут! — поддерживает его Ойво, отступая.

Волк дарит Вайю кривую, наигранно-извиняющуюся ухмылку и снова машинально потирает руку; на крылатого товарища тоже косится довольно злобно.

— Как будет угодно. С дороги!

Двое, а с ними компания других «звериных», убирается из подземелья. Следом тянутся и «зеленые», правда, не сразу. Многие подходят, чтобы коснуться моей руки поверх грубого покрывала или хотя бы заглянуть в лицо. Я улыбаюсь и принимаю пожелания выздоровления. Тошно. Я никогда не лгала *так*. От моей лжи никогда не зависело что-то важное, а теперь от нее зависит... мир? Удавшаяся лож несет в себе лишь отсрочку.

Агония после нее будет болезненнее.

Помещение пустеет, но прогнавший всех Вайю не уходит. Он прислоняется к земляной стене и хмуро скрещивает на груди руки. В желтом свете грибниц цветки меж его заплетенных, высоко зачесанных волос — еще чернее.

— Аудьенца окончена, — пытается повторить Кьори и по-

лучает желчную улыбку.

— Обезьянничаете за Жанной? Научись хотя бы делать это грамотно, змеиная жрица.

*Змеиная жрица?..*

— Что здесь происходит? — Вайю оставляет насмешки и в упор, с почти осязаемым отвращением глядит на меня. — Что это?

— Не узнаешь ученицу? — Кьори с неожиданной злостью выпрямляется, смело идет навстречу. — Удивительно.

— Присмотрись, — хмыкает Цьяши, тоже поднимаясь. — Вдруг опознаешь легендарную девчонку с плащом и щитов? Сам лепил.

Вопреки собственному совету «присмотреться» девушки встают так, чтобы загородить меня от пытливого взора мужчины. Я, скованная паникой, еще и отворачиваюсь к стене, хотя не лучшее решение — подставить спину. Если Вайю упадет, эти двое меня не защитят. А он, судя по его скрытому, но осязаемому гневу, может напасть.

— Что вы задумали? — наступают они. — Вы хотя бы понимаете, до чего можете доиграться? Особенно сейчас, когда Мэчитехь в таком бешенстве? Экиланы всюду, они очень кровожадно настроены. Они...

— Они всегда жаждут крови, — фыркает Цьяши. — Тоже мне удивил, учитель.

— Маленькая нахалка, — рывкает Вайю, постепенно теряющий терпение. — Еще одна подобная дерзость... — Он

осекается. — Так. Хватит морочить мне голову. Где Жанна?

— Перед тобой, — упрямо заявляет Кьори. — И то, что ты ее не узнаешь, ей едва ли приятно. Вы ведь так близки... были.

— Правда? — Я ощущаю тяжелый взгляд, даже сквозь загораживающих меня девушек. — Правда, Исчезающий Рыцарь? Мое недоверие обижает тебя? Так обернись. Глянь мне в глаза.

Я не двигаюсь.

— Жанна?..

Запах орхидей кружит голову, будя страх: не швырнут ли в меня нож? Я кусаю губы.

— Жанна, я приказываю. Когда я брал тебя в ученицы, ты поклялась подчиняться во всем.

Нет. Клятвы Джейн — не мои клятвы. И я ничего не должна ее учителям.

— Слушай, ты! — Цьяши, судя по гулу, топает ногой. — Никто не отрицает твою несомненную роль в наших победах. Но прояви хоть разок милосердие и уйди.

Поговорите позже. Ты не видишь, что она больна?

— Я вижу *другое*. И я предпочту удостовериться прямо сейчас, что вы...

— Стой! — Цьяши почти верещит и, вероятно, пытается удержать Вайю. Вряд ли сможет, учитывая, что он выше почти вдвое.

— Вайю! — К нему взывает и Кьори. — Вайю, пожалуйста.

Происходит действительно кое-что... серьезное. Очень. Но я прошу тебя — прошу как жрица — пока не вмешиваться. Дай мне время. Я... — Она медлит, но продолжает: — слышала зов из *Саркофага*, прямо сейчас. И... — она сбивается, но снова меняет интонацию, в этот раз на требовательную. — и я не желаю медлить, препираясь с тобой, как с ребенком! Твое сердце охвачено горем и сомнением, знаю. Но ты старше и мудрее меня, так веди же себя соответственно! Дай Жанне оправиться, дай мне собраться с мыслями, дай нам встретиться с *ним*, и тогда...

«Сердце охвачено горем и сомнением»? Это скорее про меня, чем про мужчину с черными цветами в волосах, готового меня уничтожить. Его сердце — если оно вообще есть — переполнено чем-то куда более опасным. Кьори его не урезонить, я убеждена. Но я ошибаюсь.

— Так ты идешь туда? — Вайю вдруг смягчается, уточняет тревожно: — С ней? Это опасно.

«С ней...» Со мной? Куда? Хочется обернуться, но я заставляю себя не шевелиться. В конце концов, что даст мне один брошенный взгляд?

— Экиланов там не бывает, а *он* требует ее, — сухо откликается Кьори и добавляет: — я в последний раз прошу тебя оставить нас. Дай нам время...

— Время выпутаться из собственной лжи? И сколько?

Я все же оборачиваюсь в тот самый момент, когда Кьори с достоинством приподнимает подбородок и отвечает:

– Зови это как хочешь, Вайю Меткий Выстрел. Ты услышал мои слова, а я могу обещать тебе: *он* обязательно услышит твои. Я передам. Каждое.

Они смотрят друг на друга, и неожиданно Чуткое Сердце побеждает. Вайю кивает, разворачивается и без слов выходит, почти вылетает прочь. Цьяши разбивает тишину громким «Фу-ух!» и не менее громким приземлением на мою постель. Гибкая Лоза вытирает лицо, и я вдруг улавливаю: от нее тоже идет цветочный запах, но не такой острый, как от Черной Орхидеи. Видимо, это врожденная особенность «зеленого народа». А вот от Кьори не пахнет ничем, зато кожа — и так менее смуглая, чем у Цьяши, — стала совсем бледной.

– Звезды, Звезды... — повторяет она дважды и закрывает руками лицо.

Плечи подрагивают. Я опять устремляю взор на стену, почти утыкаюсь в нее носом, не обращая внимания на проползающего меж корней жирного червя. Я чувствую вину, хотя не понимаю, за что.

– Как я могла...

– Но ведь смогла, — философски отзывается Цьяши и тычет пальцем в мою лопатку. — Эй ты, не-Жанна, поворачивайся. Большой злой куст ушел.

Странно, что она так дружелюбна, и перестала пытаться меня убить, и неловко хлопает по плечу. Впрочем, если подумать, не странно: я ведь не *та самая мисс*, что забрала у

нее Кьори, не *та самая мисс*, которую здесь боготворят. Я обреченная несчастная, которой пришлось влезть в чужую шкуру, и даже это не продлится долго. Ведь так?.. Я сажусь, опираясь о набитую какой-то травой подушку. Кьори, все так же пряча лицо в ладонях, устало, но грациозно опускается с нами рядом. Хочется пожалеть ее и утешить, но я не решаюсь. Цьяши поясняет:

— Она у нас честная. Никогда не врет. А тут не призналась, что ты самозванка, и...

— Они радовались, — сипло прерывает ее Кьори. — Цьяши, видела, как они воспрянули? Им нужна Жанна. Я... я не решилась сказать, не смогла. Убить их надежду, не сейчас, нет...

Подруги смотрят друг на друга. Кьори трясется, Цьяши тревожно потирает один из рогов. Наконец Гибкая Лоза обреченно вздыхает и дергает плечом — точно сгоняет кого-то, кто туда сел.

— И правда. Не время для признаний. Еще чокнутые звери...

— Они убили бы тебя, если бы все поняли. — Кьори теперь глядит на меня. — Сразу. Эйро и Ойво были дружны с Жанной. Но... они не очень хорошие.

— Догадалась, — даже пытаюсь улыбнуться. — Спасибо, что не выдали.

Не хочется размышлять о том, сколько странных друзей завела сестра втайне от меня. Не хочется думать о новых

и новых витках обрушивающегося на меня обмана. Больше всего хочется проснуться от кошмара и обратиться к доктору Адамсу — пусть выпишет пилюли от расштатавшегося воображения. Но я уже не проснусь. А из историй о Джейн — вокруг соринки ее мирной жизни в Оровилле — скоро вырастет огромная черная жемчужина лжи.

— Этот Вайю... — медленно начинаю я, подбирая слова. — Он сразу догадался, что я не Жанна. Кроме него поняла только ты, Кьори. Как?

И эта девушка, Чуткое Сердце, грустно посмотрев на меня, произносит слова, что уже причиняли мне боль *там*. Дома.

— Вы разные, Эмма. Вы очень разные, особенно для тех, кто вас полюбит.

Полюбит. Сэм. Вайю. Она. Флора Андерсен. И все любят... любили... не меня.

— Зато для прочих вроде меня, — Цяши бестактно подмигивает, — вполне одинаковые. Сойдешь, чтобы вышивать тебя на знаменах. Соображаешь неплохо, говоришь гладко: вон как нагородила про тайну. Еще бы подучить тебя махать мечом, и никто не заметит подмены.

— Подмены?

Вновь пробирает озноб, в разы сильнее, чем раньше. Цяши как ни в чем не бывало разводит короткими руками.

— Ну... если бы ты осталась...

— Я не останусь!

Выдержка наконец изменяет: я срываюсь на вопль. Даже хрупкие грибницы на стенах содрогаются, а с потолка осыпается земля. Цьяши и Кьори молчат, видимо, в ожидании, что я что-то добавлю. Если бы я могла передать им весь ужас от услышанного предположения... предложения?.. Я бы сделала это, не задумываясь. Если бы могла выплеснуть страх, — выплеснула бы. И они бы захлебнулись.

— Я осталась, — справляюсь с собой, перевожу дыхание, — единственной дочерью в семье. Осталась... — облизываю сухие губы, — из-за *вашего* мира. Джейн прислала меня сообщить вам о ее смерти, и я сообщила. Я хочу домой. Отведите меня. Если Джейн была важна хоть кому-то и у вас есть совесть.

Они обмениваются взглядами, и там нет упрека, только беспомощность. В общем-то, жаль их: расставшись со мной, они будут сами отвечать за обман, сами разнесут весть о гибели Жанны по своим землям, а потом, вероятно, умрут в бою. Да, мне жаль их. Но куда больше жаль себя.

— Не торопись, — вскидывается вдруг Цьяши. — Кто бы ты ни была, не торопись. Кьори сказала, тебя желают видеть. *А его* волю лучше выполнять, в каком бы мире ты ни жила. Правда?

Но Кьори молчит. Она потупилась и опять изучает свои стройные босые ноги, защищенные, как и у подруги, лишь обмотками.

— Ты ведь слышала зов из Саркофага? — напирает Цьяши,

и я тоже вспоминаю те странные слова. — Он хочет поглядеть на эту особу? Передать что-то повстанцам?

Кьори качает головой.

— Да что такое?.. — не отстает Гибкая Лоза. — Что ты такая белая? Он что, хочет жертвоприношение? Так давай...

— Ничего я не слышала, — отзывается наконец Чуткое Сердце. — Он никого не звал. Я... я солгала Вайю, чтобы он ушел. Я солгала уже дважды за день. Потому что я не знаю, что дальше делать. С ней. — Кивок на меня. — И вообще. Звезды покарают меня за ложь. Я заслужила. Я многое заслужила, я... виновата...

И она опять прикрывает лицо. Цьяши наоборот начинает вдруг так смеяться, что это кажется скорее припадком, чем весельем. Она хлопает себя по коленям, потом в ладоши. Не удивлюсь, если завалится на пол и примется кататься, словно резвящаяся собака. Тем не менее Гибкая Лоза с собой справляется, обрывает хохот и бесцеремонно хватает подругу за плечо.

— Так, — командует эТамаленькая особа. — А ну хватит. Ты жрица или кто?..

— Жрица... — доносится из-за ладоней.

— Тогда у меня отличный план. — Цьяши деловито хмыкает. — Не очень безопасный, но безопаснее, чем тащить ее сейчас к Омуту. Там кишат экиланы, наверняка.

— Я же сказала, что хочу вернуться, — встречаю было, но меня нетерпеливо обрывают.

– Да никто тебя не держит, не лести себе, неумеха! Отправим домой, но позже, ты ведь хочешь выжить? Рано или поздно лазутчики вернутся в Форт. Или...

– Или? — вскидывается Кьори. Судя по настороженному блеску глаз, она увидела в словах упущенное мной двойное дно.

– Или, — Цьяши поднимает палец, — твой замурованный дружок сначала подскажет нам, как развенчать легенду об Исчезающем Рыцаре без массовых самоубийств и дезертирств. Он же умнее всех живых вместе взятых. И он наверняка уже почувствовал, что случилось.

– Думаешь, знает? — Кьори начинает нервно заламывать пальцы.

– Он всегда все знает, ты сама говорила. И ему не понравится, если ты не придешь обсудить такие новости.

Может, он действительно ждет тебя и девчонку?..

– Но он меня не *звал*...

– Или ты, трясаясь как напуганная мышь, не услышала? Ты же размазня и растяпа, такая же, как... — Цьяши в который раз машет рукой на меня, — эта.

Я не улавливаю сути разговора, но одно понимаю безошибочно: Цьяши намеренно выводит Кьори, чтобы приободрить. Забавная знакомая тактика, Джейн тоже часто поддразнивала меня, заставляя воспрянуть духом. Это получалось. Получается и с Кьори: она, расправив плечи и проглотив оскорбления, оживляется.

– Что ж, это здорово. К тому же если вдруг Вайю следит за нами, а он может следить... лучше хотя бы сделать вид, что мы идем в Змеиную лощину. А там...

– Не надо делать вид! — Цьяши хлопает ее по плечу. — Идем по-настоящему, благо, дорога наверняка свободна, если Злое Сердце не спятил совсем! Поболтаем...

– Цьяши. — Кьори щурится, разворачиваясь к ней. — Напоминаю, что это не «мой замурованный дружок», а наша святыня. К нему не ходят «поболтать». И что-то мне подсказывает, что ты просто хочешь посмотреть на Саркофаг, а во все не решить наши проблемы. Так вот, это...

– Что ты, я хочу решить проблемы, — невозмутимо возражает Цьяши. — Но и на Саркофаг глянуть — тоже! Ты не водила меня туда ни разу с моего приезда, а ведь обещала! Должна же я знать, чьим священным именем, кроме имени этой Жанны, мы...

– Цьяши, — тихо перебивает Кьори. — Хватит. Эмме эти подробности не нужны, они ее только напугают.

– Меня уже вряд ли что-то напугает, — рискую возразить я и получаю насмешливый вопрос:

– Да? Много у вас живых мертвецов? Разлагающихся, обмотанных бинтами...

– Цьяши! — Кьори, которую недавно обозвали размазней, рычит. — Остановись сейчас же. Не порочь его святое имя, не зли меня, или я... я... я...

– Ты что? — фыркает Гибкая Лоза. Глаза Кьори сердито

блестят, и она выпаливает:

– Или я тебя не возьму! Велю стражам на выходе тебя задержать. Отправлю на кухню.

– Да кто ты такая! — Цьяши морщит нос и бубнит: — Мисс жрица! Важная такая стала...

Кьори больше не обращает на нее внимания, разворачивается ко мне и неуверенно берет за руку. Я не сопротивляюсь, касание скорее успокаивает, даже удивительно, как Чуткое Сердце так действует на людей. Подбирая слова, она начинает:

– Послушай, Эмма. Жанна очень любила тебя, и я сделаю все, чтобы тебе не причинили вреда, пока ты здесь. Но ты тоже должна понять, *что*, — она тяжело сглатывает, — твой уход и ее уход будет значить. Нам придется плохо.

– Я ничем не смогу помочь, — шепчу одними губами. — Я... прости, я...

Я не Джейн. И никогда не стану Жанной — Исчезающим Рыцарем. Почему-то наворачиваются слезы, и я начинаю быстро-быстро моргать. Цьяши презрительно сопит, Кьори сжимает мою руку крепче.

– Знаю. — Тон по-прежнему мягок. — Знаю очень хорошо. Именно поэтому никто тебя не задержит силой; как Цьяши и сказала, мы тебя проводим, и дальше ты сможешь все забыть, как сон, в конце концов, это не твоя жизнь.

«Наши беды. Не твои». Я продолжаю яростно моргать.

– Но нам нужен совет, что делать без вас. Одно... суще-

ство может его дать. И будет лучше, если он увидит тебя и от тебя услышит весть о Джейн. Он, к сожалению, не может прийти, он вообще не может ходить. По сути, он...

— Живой мертвец? — угадываю я, вспомнив слова Цьяши. Боль искажает тонкое лицо Кьори.

— Примерно так. Не совсем. Я могу рассказать тебе по пути, если ты...

— Я боюсь, — тихо признаюсь я. — Я очень боюсь, Кьори.

— А кто мел языком, что его уже «вряд ли что-то напугает»? — издевательски передразнивает Цьяши. — Тьфу!

— Я боюсь, — глухо повторяю я, заставляя себя пропустить насмешку мимо ушей. — Но не сказала, что не пойду. Если это вам поможет, этого наверняка хотела бы Джейн.

— Поможет, — благодарно шепчет Кьори. — Поможет, он всегда помогает, с самого начала, и он не забудет твоей доброты.

Я снова киваю, слышу слабый радостный взглас и сажусь совсем прямо. Тело отзывается болью, но потерпеть можно. А вот выпутывание листвы, насекомых и земляных комьев из волос куда неприятнее. Погружаясь в это методичное занятие, я спрашиваю:

— А все же кто он? Этот мудрый советчик?

Кьори, поднявшаяся на ноги, смотрит вверх, будто хочет найти зеленое небо; может, и вправду хочет. Наконец, обернувшись, она отвечает:

— *Вечно живой и вечно мертвый.* Престононаследник из

рода Белой Обезьяны. Последний светоч, павший в бою с Мэчитехью. Он говорит с нами с самого начала войны. Точнее, сейчас преимущественно он говорит со мной.

– А ты...

Цьяши, пинающая какой-то обломок дерева, бесцеремонно влезает с пояснением, простым и максимально лаконичным:

– А она — его жрица. Жрица и заклинательница змей. Для всех — Змеиная жрица. Так что, ты долго собралась тут чесаться? Пошли!

## 5

# Предрешенная судьба

### *Здесь*

– Знатные железки. Разжилась бы такими и... ух!

Цьяши движется бесшумно; так же бесшумно она взмывает иногда двумя ножами, и широкие лезвия срубают лианы, развесистые листья, ветви, перегораживающие узкую тропу. Ножи в длину едва ли не больше самой Цьяши, что не мешает ей управляться крайне проворно. Впрочем, как пояснила Кьори, дело не только в мастерстве Гибкой Лозы, но и в особенной заточке орудий — священных «эйквали», *клинков-прорубающих-путь* .

– Сюда... — Чуткое Сердце показывает очередной скрытый в зарослях, невидимый глазу поворот. — Нет, нет, левее! Ох, Цьяши, пожалуйста, осторожнее! Не руби лишнего, им больно!

Убежище повстанцев — точнее, множество убежищ, целый подземный мирок, — надежно спрятано за обманчиво непролазными буреломами. Впрочем, Агир-Шуакк настолько утопает в джунглях, что куда больше этой дикости меня удивляет существование здесь цивилизованного поселе-

ния — Черного Форта, по описанию напоминающего город. Тропическая растительность же словно живая: оборачиваясь, я замечаю, как срубленные побеги отрастают заново, стоит нам пройти. Впрочем, как пояснила Кьори, это тоже особенность ножей, в давние времена украденных у захватчиков. Эйквали с их каменными лезвиями незаменимы, чтобы проложить дорогу ненадолго и незаметно. Но лучше не представлять, сколько они весят.

Кьори идет рядом. Неровной тропки нам достаточно на двоих, мы занимаем столько же места, сколько вышагивающая впереди широкая, коренастая Цьяши. Кьори, явно привыкшая к нагромождению коряг и провалов, смотрит подружке в спину, я же — в основном, под ноги, опасаясь споткнуться и ушибиться.

— А когда ты идешь туда одна, прорубаешь дорогу сама? Она качает головой.

— Я эти ножи и не подниму, пробираюсь так. Но я редко бываю у светоча одна, обычно меня сопровождает кто-то из командиров. Это им дают указания. Я... — она понуро вздыхает, — проводник. *Змеиная жрица* в большей степени, нежели *жрица светоча*. Нужна, чтобы отгонять змей там, где их много.

Чувствуется: она не слишком довольна своей долей. Невольно испытываю новую волну симпатии, теперь из-за нашей схожести — схожести слабых. Нога вдруг проваливается меж мшистых коряг, я жалобно взвизгиваю и неуклюже

расставляю руки, ища равновесие. Как отвратительно. Устоять удастся с трудом. Обернувшись Цьяши награждает меня красноречивым взглядом и заявляет, вроде бы не обращаясь ни к кому конкретно:

– Даже если экиланы не знают этой тропы, скоро узнают.

Она новым взмахом срубает широкий пальмовый лист и прибавляет шаг.

– Идем. — Кьори помогает мне выбраться. — Недалеко осталось. И не бойся... экиланы не придут. Они суеверны, опасаются змей. А их тут...

Я взвизгиваю снова: рядом проползает гадюка. Змея не обращает на нас никакого внимания, но я при виде блестящей чешуйчатой спины содрогаюсь и хватаю Кьори за руку, сглатываю слюну, замираю как вкопанная. Та заканчивает:

– ...Много. Но если не наступишь, не нападут. И главное...

Звучит воинственный клич, за ним — свист лезвия. На землю падает срубленная лиана; приглядевшись, с ужасом понимаю: не лиана, а еще одна змея, изумрудная кобра. Раздутый капюшон похож на плотный лист. Цьяши оборачивается на сей раз с неприкрытым самодовольством. Но Кьори не спешит ее хвалить.

– И главное... — с напором заканчивает Чуткое Сердце. — Не убивай их. Ни в коем случае не убивай местных змей.

Я и так вряд ли смогла бы, я и мышь не уничтожу. Совет нужнее воинственной особе с клинками. Она сплевывает

сквозь неровные передние зубы:

– Почему это?

– И чем только ты меня слушала? Помнишь, почему мы не взяли мангуста? И зачем вообще повстанцам нужна я?

Говоря, Кьори смотрит на убитую кобру. Половинки разрубленного туловища шевелятся и вытягиваются; у передней удлиняется хвост, а у задней отрастает голова. И вот уже две живые змеи шипят на Цьяши. Я зажимаю рот, борясь с желанием в очередной раз завизжать и с другим — развернуться и лететь обратно, подальше отсюда, к подземным убежищам, путь в которые давно потерян, забыт и скрыт. Но я справляюсь с собой и делаю новый шаг. Две кобры теперь сопровождают нас. Их тела иногда сливаются с травой.

Змеи охраняют путь к Саркофагу — это Кьори рассказала, помогая мне переодеться в здешний наряд Джейн: длинную рубаху, обмотки и чешуйчатый доспех, благо, достаточно легкий, чтобы я выдержала вес. Змей полчища; Лощина кишит ими так, что пройти к светочу и не быть укушенным почти невозможно. Змей запрещено убивать, потому что из каждой убитой рождается несколько новых, эти новые — злее прежних. Когда кто-то однажды взял с собой мангуста и тот съел гадюку, змееныши полезли из его нутра, проломив грудину. Их было два десятка. С тех пор никто не приводил зверей на заросшую тропу, не трогал живущих здесь тварей. И стало ясно, что род змеиных жриц — род Кобры — не должен пресекаться, иначе дорога заказана. Однажды

он все-таки пресекался. Об этом Кьори говорила с горечью.

Она была ребенком, когда все случилось, и не знала, что отличается от сородичей. Она верила бабушкиным словам, что тонкие черты, прохладная кожа, когти и дар усмирять животных музыкой — лишь забавные странности. И она не собиралась присоединиться к повстанцам: ей нравилось мирно жить на краю Агир-Шуакк, в отличие от Цьяши, рвавшейся в его сердце. Не там Кьори собиралась провести жизнь... а потом последняя змеиная жрица пала в бою с экиланами, не родив дочерей. Тогда и вспомнили, что у кого-то из мужчин рода Кобры была связь с женщиной из «зелени» и осталась дочь. Смешанные союзы не порицаются в Агир-Шуакк, но и не распространены, потому что либо не дают потомства, либо дают калечных выродков. Кьори — спасение повстанцев — родилась здоровой. Я наконец поняла: грациозная девушка вправду напоминает змейку, а разозлившись, раздувает невидимый узорчатый капюшон.

Кьори забрали и обучили всему, что должна уметь жрица: ловко двигаться, складно говорить, подчиняться командирам и не бояться змей. Но прежде всего, — играть на тростниковой свирели, зачаровывая кишаших в Лощине существ и пробуждая *того, кто в Саркофаге*. А позже Кьори предстоит родить от кого-то из мужчин рода Кобры здоровую девочку и приумножить кровь жриц. Предрешенная судьба. И я еще считала предрешенной свою.

– Кто он? — спрашиваю я, когда Цьяши в очередной раз

обрушивает нам под ноги несколько лиан. — Этот правитель... светоч... *мертвец*? Почему он остался с вами? И как?

— Ты вправду хочешь знать? — отзывается Кьори. — Тебе едва ли понравится, даже Жанна приняла его главную тайну с трудом.

Она держит меня под руку, опасаясь, что я упаду. Мы похожи на прогуливающихся подруг, и Цьяши это явно раздражает. Пару раз она уже отгибала ветки так, чтобы хлестнуть нас побольнее, вот и сейчас я вовремя перехватываю гибкий побег с мелкими красно-розовыми бутонами. На ладони остается ожог, точно уцепилась за крапиву.

— Да... — растираю руку. — Приму, если Джейн приняла...

— Тогда слушай. — Кьори нервно облизывает губы. — Так будет даже лучше, по крайней мере, ты меньше испугаешься. Лощина — священное место, там лучше не кричать. Там, в земле, последний Саркофаг из созданных Разумными Звездами. Спасительный... — она запинается.

...История, которую она рассказывает, похожа на кровавую сказку еще сильнее предыдущих. Я забываю смотреть под ноги, — вглядываюсь в жрицу, вслушиваюсь, одновременно замороженная и переполненная отвращением и ужасом — ужасом девушки, верящей в другое. В то, что лишь один Человек за всю историю мира воскресал и воскрешал.

Разумные Звезды, местные божества, не слепили жителей Агир-Шуакк из глины, не создали из света и воды. Они взя-

ли за основу свои же ранние творения: сначала вырастили из семян «зеленый» народ, затем, не в полной мере довольные, решили выяснить, что получится из зверей. То, как они сделали это, напоминает не Божий акт Творения, а эксперимент безумца, кого-то вроде доктора Фауста или вовсе — Виктора Франкенштейна.

– *«И исторглись из земли Гробы-Саркофаги... Большие для мужей, меньшие — для жен. И было их по два на каждый Звериный Род. Легли во Гробы те Он и Она от каждого Зверя. И когда легли они, сманенные Звездным Светом, Свет тот затопил мир. И вышли из Саркофагов уже не Звери, но существа о двух ногах, вольные и разумные. И пожалели Звезды о Деянии. И раскололи Саркофаги молниями, дабы никто более не лег в них и не поднялся оттуда...»*

– Но «звериным» уже не нужны были гробы, чтобы плодиться, вот в чем загвоздка, — бесцеремонно обрывает подругу Цьяши. — Они ведь уже знали, как сношаться. И благополучно делают это до сих пор.

– Цьяши!

Гибкая Лоза смеется и отмахивается, к нашим ногам падает ветка. Кьори вздыхает, аккуратно перешагивает ее, подобрав полы травяной юбки, и продолжает рассказ.

*Светочи* — род Белой Обезьяны — получили власть, потому что первыми присягнули Звездам на верность и вознесли молитву. Прочие «звериные» в большинстве оказались слишком горды и кровожадны, «зеленая» же ветвь — роб-

ка. Мужчина и Женщина из рода Обезьяны сумели объединить, примирить и успокоить разрозненный молодой народ и повели его за собой. Что же касается Саркофагов, боги действительно уничтожили их, не желая новых творений. Уничтожили все, кроме одного. Саркофаги несли в себе даже не магию, а *домагию* — силу, сотворившую мир и не зависящую от поступков и судеб населивших его существ. Саркофаг Обезьяны боги сохранили, спрятав от смертных. Он был явлен только века спустя, когда...

— Когда пришли экиланы. — Кьори поднимает глаза к небу, едва виднеющемуся за листвой. — Когда погиб старый светоч. Когда молодой престолонаследник Эйриш Своевольный Нрав принял его магию и сразился с Мэчитехью, но проиграл. Он умирал, а наши жрецы и воины забрали его и, по знамению Звезд, отнесли в Лощину. По пути многие отдали жизни, ведь никто не умел тогда заклинать змей. Светоча положили в Саркофаг в надежде исцелить. Чуда не произошло, но... Эйриш и не умер. Он там до сих пор. Оттуда он говорит с нами, и мы верим, что однажды он восстанет. Жаль, пока это невозможно: едва крышку открывают, едва он делает шаг, страшные раны кровоточат. Мы не открывали ее давно.

У меня больше нет возможности смотреть на жрицу: нужно быть внимательнее, слишком много змей. Приходится останавливаться, пропускать их, задерживать дыхание, чтобы не закричать. Змеи — зеленые, черные, кораллово-крас-

ные — не нападают, спешат, влекомые чем-то вперед. Но я слишком хорошо представляю, как вопьются ядовитые зубы, если наступлю гадкой твари на хвост. А две кобры, рожденные неосторожным ударом клинка, неизменно рядом.

— То был честный бой, — продолжает Кьори. — О Мэчитехь можно сказать много дурного, но сражается он всегда честно, если выходит на поединок сам. Просто Эйриш был ослаблен. Когда умер его отец, вся магия, обычно передаваемая наследнику плавно, ритуалами, влилась в Эйриша разом, подобно молнии. Он...

Кьори опять осекается, смотрит под ноги. Вовремя: там проползает кобра с причудливым желто-серым капюшоном. Цьяши больше не рубит ветви; стволы деревьев пошли гладкие, кроны начинаются выше человеческого роста, зато лианы тянутся нескончаемым пологом над самыми головами. Приходится иногда пригибаться. Ноздри щекочет запах подгнивающего болота. Становится все жарче, из-за перегороженного неба — темнее.

— Он спятил, — заканчивает за подругу Цьяши. — Не мог управлять силой, а еще, вливаясь в тело, она состарила его.

— Не состарила, — уточняет Кьори, — а *осушила*, забрала юность. Он был почти мальчиком, когда это случилось, а очнулся уже мужчиной. Не стариком, но...

— Ужасно!

Это вырывается помимо воли. Я представляю: быть, например, девочкой лет двенадцати и мечтать, как расцветешь

в юную девушку, а потом — в один день! — проснуться сразу женщиной?.. С увядающей кожей, без нежной хрупкости, без свежего сияния глаз и улыбок? И без... памяти о юности? О первой любви? Как если бы ранняя весна с чахлой молодой порослью, минуя майское тепло и лето, сразу перетекала в осень.

— Да, именно так, — продолжает Кьори. — Но Цьяши не права, престолонаследник не «спятил», а был убит горем и яростью: из-за отца, из-за того, что гости, к которым мы были так добры, предали нас. Убили старого светоча Элиэна в мирный час, на своем...

— Это, может, святотатство, — вмешивается Цьяши. Она замедлила шаг и небрежно поигрывает клинками. — Но, по моему, престолонаследник сглупил. Ему досталась вся магия отца, магия Звезд... неужели он не победил бы этой магией каких-то там чужеземных экиланских божков, если бы постарался?

Кьори резко высвобождает у меня руку и упирает в бок.

— Цьяши!

Но на подругу не действует тон, она настаивает:

— Решение было глупым. Тем более глупым, учитывая, что сражался этот Эйриш, дай Звезды, чуть-чуть получше, чем... — короткий палец указывает на меня, и я, стараясь скрыть раздражение, напоминаю:

— Эмма.

— Да плевать! Это...

– Не слушай! — горячо перебивает Кьори. — Не слушай эту пигалицу, она не понимает, о чем говорит.

– Да все я понимаю!

Признаюсь — скорее чтобы примирить их и заставить понизить голоса:

– Я не понимаю вас обеих. Какое решение принял ваш светоч? Что он сделал не так? Мне казалось, то, что он вообще сразился, не будучи воином, было...

– Глупостью! — выпаливает Цьяши.

– Подвигом. — Я встречаю благодарный взгляд змеиной жрицы. — Я не смогла бы.

– Забавно... — тихо, точно про себя, говорит Чуткое Сердце. — Жанна приняла бы сторону Цьяши. Она всегда считала, что главное — результат поступка, а не то, каких сил стоило на него решиться...

Да, такова была Джейн. Жанна. Имя, тень имени в мыслях в который раз опалает горем. Я опускаю глаза и без ужаса, почти привычно натыкаюсь взором на блестящую черными чешуйками змеиную спину. Мелькнув рядом, меж корней дерева исчезает гадюка. Снова раздается сдавленный голос Кьори:

– Вызывая Мэчитехьо на поединок, Эйриш не думал, что овладение магией требует столько времени. Она ему по-прежнему не подчинялась, когда они сошлись. Вождь предложил драться обычным оружием — на ножах. Эйриш проиграл. И случилось то, что случилось.

Она прибавляет шаг. Полог над нами редет, вновь проглядывает небо. Тропа расширяется и едва заметно идет под уклон. Стена деревьев становится плотнее, каждое обвивают лианы, там и тут пестреют орхидеи, видны и другие цветы. Путь сродни коридору, из которого не свернуть. Коридору, где под ногами все больше змей, а земля противно чавкает.

— Эйриш лежит в Саркофаге давно. — Кьори выпрямляет спину, невесело улыбается. — Благодаря искрам его жизни у нас уцелела хоть какая-то магия. Возможность взывать к богам. Пользоваться артефактами экиланов. И... приходиться сюда, не боясь змей.

Она снимает с пояса ранее не замеченный мною предмет — аккуратную свирель из семи тонких трубочек. С подобной в книгах изображают Пана, козлоногое божество то ли виноделия, то ли скотоводства. Поднимая эту свирель, Кьори выступает вперед.

— За мной.

Дальше — за изгибом тропы — болотистая низина, окруженная древними переплетающимися деревьями. Копошатся в гуще мха и осоки десятки змей. Кьори подносит тростниковые трубочки к губам и словно бы нежно целует крайнюю, самую длинную. Начинает.

*Мел о дия .*

Первый же звук разбивает холодное шелестящее шипение. Жрица не произносит ни слова, чтобы приветствовать невидимого правителя; за нее говорит музыка, свитая из ше-

пота ветра, переключки птиц и журчания ручья. С этой музыкой — зыбкой, летящей — все вдруг меняется. Расползаются к деревьям змеи, сворачиваются у корней в клубки. Ниже наклоняются ветви: точно вековые секвойи, тики и баобобы тоже слушают Кьори. Может, действительно слушают, скучали, рады встрече? Но главное — мох. Он... *дышит*? По нему бегут волны, как по воде или лугу на ветру. Рябь ширится; волны сталкиваются; кажется, еще немного — и вместо изумрудного ковра я увижу изумрудный шторм. Но происходит другое: из мха что-то выступает — серое, перепачканное землей, а вокруг булькает болотная жижа. И запах: тина, ряска, прогретая и полная смрадных тел почва... Он тоже становится сильнее.

Кьори стоит прямо — гибкая, гордая, страшная. Она продолжает играть, а в волосах я впервые вижу два побега плюща, знак ее рода по матери. Цьяши неотрывно наблюдает. Когда подруга запрокидывает голову к небу и тут же как подрубленная падает на колени, Гибкая Лоза нервно втыкает в землю священные клинки и опирается на них, шепча:

– Жуть... Жуть!

Мы бессознательно беремся за руки. А Кьори играет. Играет. Играет. Птицы, ручей, ветер, а за ними — дождь, лупящий по чьим-то оголенным ребрам, и снег, сходящий с гор. За ними — первый крик новорожденного и последний стон старца. За ними — молодой воин захлебывается в собственной крови. Все это в одной мелодии. Странная музыка. Му-

зыка мертвых.

«...И исторглись из земли Гробы-Саркофаги».

Наконец я догадываюсь, что увижу прямо сейчас.

Неужели моя Джейн выдержала это? Выдержала и не сошла с ума?

Или сошла?..

## *Там*

Фетер несет потоки вперед, искрит жемчужно-пенными барашками. Тут, достаточно далеко от нагорий, стремительные воды замедляются, тяжелеют, движение их становится степеннее. Ширится русло. Порастают густой травой берега, крутизна перетекает в приветливую пологость. Река никуда больше не торопится, опасности холодных пиков позади. На пути лишь Оровилл и еще с полдюжины деловитых городишек. А прямо сейчас река минует наше скромное общество, расположившееся после прогулки на лугу.

Джейн стоит на краю берега, там, где он плавником уходит вверх, и смотрит по течению Фетер. Будто ищет что-то за очередным извивом, но ей ли не знать, что там ничего примечательного? Суда не идут ни со стороны Сьерра-Невады, ни обратно. Живая навигация сейчас у Сакраменто, в наших же краях блаженная солнечная тишина, сонливое летнее безделье. Близ роц — малообитаемые края. Не потому ли Флора Андерсен с таким упоением несколько дней под-

ряд писала здесь очередной вид, а теперь выбрала этот уголок для пикника?

Она, одетая в вишневое платье, — слишком смелое для утра, — сидит со мной рядом на клетчатом покрывале. Взятая еда — мама собрала корзину в лучших, пусть устаревших традициях Лондонского Пикникового общества<sup>11</sup> — ее не вдохновляет. Она равнодушна и к говяжьим сэндвичам с сыром, и к яйцам по-шотландски<sup>12</sup>, и даже к шедевру нашей кухарки, румяно-золотистым корнуэльским пирожкам<sup>13</sup>. Миссис Андерсен скромно угощается апельсинами и яблоками, чередуя их с тонким имбирным печеньем.

— Должна сказать, — осторожно отмечает мама, — вы совершенно не едок. Такая редкость в нашей провинции, воздух здесь здорово пробуждает аппетит!

— Это и в нашей непровинции нечастое явление, — встречает Джером Андерсен, только что расправившийся с тре-

---

<sup>11</sup> Лондонское Пикниковое общество — английский клуб по интересам; туда входили отпрыски многих знатных родов. Был своеобразным «законодателем» в области пикников. Именно члены этого общества ввели в моду клетчатые пледы, плетеные корзины и многие ставшие традиционными блюда. К моменту повествования клуб уже перестал быть столь известным.

<sup>12</sup> Яйца по-шотландски — блюдо британской кухни. Вареные яйца, обмазанные фаршем и обжаренные в панировочных сухарях. Традиционно для пикников.

<sup>13</sup> Корнуэльские пирожки — национальные английские пирожки, фаршированные говядиной, картофелем и луком. Изначально готовились женами для рудокопов-корнуэльцев. В уголке теста лепились инициалы, а сам уголок (за который удобно было держать пирог) традиционно оставляли подземным гномам, чтобы те благоволили работам.

тым по счету яйцом. — Мое сокровище, думаю, боится покруглеть, а сейчас еще и кокетничает... — Он подмигивает жене. — Угостись посолиднее, все ведь свои.

«Все свои». Два простых слова, которые должны значить лишь, что наше семейство сблизилось с Андерсенами. Два простых слова, подтверждающие: нас не держат за деревенщин, вопреки опасениям. Два простых слова за последние несколько дней звучали не раз и причиняют мне боль. Потому что слова эти начали слетать с языка Джерома Андерсена после бала, где Джейн поцеловала Сэма. И после первого *«разговора о будущем»*.

— Нет, дорогой. Итальянцы не знают обильного завтрака и живут долго, чего и тебе желаю. Иногда у супруги, вопреки закорючатым мужским мнениям, есть чему поучиться.

Родители с улыбкой переглядываются, в этом мне тоже чудится что-то двусмысленное. Флора Андерсен сжимает очередное печенье меж длинных пальцев и отправляет в рот. Даже когда крошки просыпаются на кружево воротничка, она стряхивает их с изящной непринужденностью, жестом, которым уместнее наносить духи на кожу. Женщина во всем... я вдруг представляю, как тяжело ей будет ужиться с дикаркой Джейн, и испытываю необъяснимое злорадство, которое тут же в ужасе отталкиваю. Я ли это? И... не далеко ли я гляжу?

— Как прекрасна юная любовь, как робка!

Нет. *Не далеко*. Ведь Флора Андерсен сладко мурлычет о «юной любви», наблюдая за собственным сыном. Сэм стара-

тельно делает вид, что прогуливается по лугу без цели, но то и дело кидает взгляды на возвышение берега, туда, где стройной кариатидой застыла Джейн с развевающимися волосами. Как она задумчива... какая у нее прямая спина.

— И как ленива любовь устоявшаяся, — с нежной насмешкой прибавляет мама, поглядывая на папу. — Мальчик собирает букет. Так трогательно!

Сэм действительно срывает иногда цветы, особенно ему по душе редкие маки — гости, занесенные с юга штата. Медово-золотые и алые головки пестреют на фоне серого сюртука, с ними переплетаются невзрачные соцветия клевера и васильки. Я отвожу глаза и изо всех сил сосредотачиваюсь на дурашливой перепалке родителей.

— Что, Селестина, тоже хочешь, чтобы твой старик гнул спину? — мирно ворчит отец. — Мало я дарил цветов, когда мы были молоды?

— И все полевые? — интересуется Флора Андерсен. — В этом есть что-то чудесное, такое невинное! В Нью-Йорке предпочитают розы. А в Италии лилии.

Белые лилии...

— У лилий тяжелый запах, — откликается мама. — Да и вообще одна из прелестей провинциальной жизни — несомненно, цветы, за которые не надо отдавать доллары. Здесь можно было бы... — опять взгляд на папу, — оставаться романтичным супругом хоть до старости и при том экономить. Было бы желание.

— Ну, дорогая! — Он разводит руками. — Помнишь ли, что я назвал твоим именем свой первый пароход?

Это куда романтичнее!

— Дымящее железное чудище! И если не ошибаюсь, оно уже затонуло!

— Ты же понимаешь. Все понимаешь, ну, Селли!

Андерсены смеются. Они понимают шутливость спора не хуже, чем я, давно привычная к подобным. У родителей чудесный брак, выросший из дружбы с малых лет. Куда бы мятежная душа ни влекла юного папу, мама следовала за ним. До самого Оровилла, тогда еще жалкой палаточной деревеньки, где не было почты, зато ходили легенды о золотых реках. Мама поверила и в желание податься на прииск, и позже — в то, что будет здорово «пустить корни» в новорожденном городке. Поверила в рискованную идею речных перевозок и в идею сумасшедшую — строить суда для Севера, разорвав связи со всеми сторонниками Юга. Мама всегда верила в папины начинания, а папа верил, что мама будет рядом. Их отношения — наглядное подтверждение, что самые крепкие союзы — между людьми, верящими друг в друга. Иногда я завидую родителям и задумываюсь, не лучшая ли мысль — тоже выйти за кого-то, знакомого с детства? Мама не зря ведь позаботилась о том, чтобы у нас с Джейн было много поклонников среди «новой аристократии».

...Но я вижу маки в руках Сэма Андерсена, и смех взрослых режет мне слух.

Джейн оборачивается, когда Сэм взбирается на поросший травой «плавник». Дарит улыбку, принимает цветы, рассеянно прижимает к груди. Двое начинают беседовать, глядя на воду. Джейн то и дело поправляет непослушные локоны, зябко поводит плечами. Она с самого утра задумчива и рассеянна. У нее скверный аппетит, да и перемолвились мы от силы несколькими фразами. Что-то мучает ее, хотя накануне она предвкушала прогулку. С Сэмом она смеется, но смех кажется мне каким-то... разбитым. Не разносится ветром, а падет зеркальными осколками.

— Иногда я удивляюсь. — Флора Андерсен заговаривает вновь, и, в надежде отвлечься, я судорожно цепляюсь за ее голос. — Сэм — такой одухотворенный мальчик. Голова часто в облаках, не то что у Марко, тот донельзя прагматичен.

— Сэмюэль молод. — Мистер Андерсен миролюбиво наблюдает за сыном. — И у него нет такой уж нужды сразу взрослеть. Пусть себе... — Он делает рукой широкий круг, пытаясь охватить все, что включает «пусть». — Еще станет серьезным парнем. А начать можно и с женитьбы на хорошей девушке.

Родители улыбаются, мне приходится сделать то же самое. Я смотрю на иссиня-черные кудри Сэма, которые Джейн аккуратно приглаживает кончиками пальцев, потом ненадолго закрываю глаза. Тщетно: видение — его красивые волосы, ее пальцы, так похожие на мои, — не уходит.

— И все же, — продолжает мысль миссис Андерсен. — Со-

гласись, дорогой: вы с Марко скорее купите девушке клумбу, чем своими руками соберете букет.

— Ну, Сэм пошел в тебя, — басит Джером Андерсен. — Должен же хоть один из двоих...

— Наверное, это следствие, — она будто не слышит, больше не дает себя перебить, — того *инцидента*, о котором я рассказывала. Помнишь, когда...

— Дорогая. Мое сокровище. Я же просил...

Услышав привычные ласковые обращения и осознав, что от них веет холодом, я открываю глаза и ловлю недоуменный взгляд мамы. От нее тоже не ускользнуло: от одной фразы, меньше чем за полминуты, между нью-йоркскими супругами что-то переменялось, настолько, что отец уже ерзает и, судя по всему, собирается окликнуть Джейн и Сэма — хоть как-то перевести разговор. Он не успевает. Флора Андерсен как ни в чем не бывало обращается к моей матери:

— Случалось ли с вами что-нибудь странное перед родами? Нечто... выдающееся?

— Дорогая, — напряженно повторяет Джером Андерсен, но замолкает, поняв, с каким любопытством на него косится мой отец. — А впрочем, плевать. Плевать, продолжай в свое удовольствие.

— Женщины! — Отец пытается утешить его. — И о чем только беседуют...

Видно, он решил, что у ньюйоркца, как и у многих мужчин, вызывают священный ужас любые разговоры о тайн-

ствах деторождения. Он щедро предлагает Андерсену сигару, но тот отказывается. Мама пожимает плечами и, ошибочно решив, что опасность миновала, отвечает:

— Пожалуй, наиболее необычным было спонтанное желание купить деревянные фигурки у краснокожей. Из *того* племени. — Мама оживляется, румянец окрашивает ее щеки. — Кстати, интересное совпадение: игрушек-то я взяла две, хотя еще не знала, что жду близняшек!

— Ах, как очаровательно! Да, это явно был знак судьбы! Так вот, я тоже, я тоже его получила, когда носила Сэма!

Глаза Флоры Андерсен возбужденно сверкают, она нацелилась поведать что-то особенное. Отец и Андерсен молчат: первый предупредительно, второй — нервно. Поведение Джерома Андерсена все дальше от моего понимания: что его обеспокоило? Почему он выглядит так, словно, не будь поблизости посторонних, между супругами уже кипела бы ссора?

— Расскажите, — просит мама. — Интересно.

Миссис Андерсен и просить не надо.

— В одну из ночей я очнулась от необычного ощущения. Кто-то *позвал* меня. Я вообще спала беспокойно, тревожилась, к тому же плохо перенесла путешествие, — я сопровождала Джерри, как раз в этих краях, у нас была тогда доля на приисках. Так вот. Я лежала, пытаюсь понять, что за зов. Мне не спалось. Сердце трепетало... — Флора Андерсен прижимает руку к груди. — Я чувствовала: что-то долж-

но произойти.

Она делает театральную паузу. Порыв ветра играет трагической, которую я машинально перебираю пальцами. Джейн и Сэм увлечены лишь друг другом. Чтобы не думать об этом, я спрашиваю:

– И *что* произошло?

Взгляд Джерома Андерсена мог бы прожечь во мне дыру. Моя попытка притвориться благодарным слушателем ему не по душе. Конечно, отец Сэма не проявляет враждебности, тут же натягивает улыбку, но морщины в углах сжатых губ выдают скрываемые эмоции.

– Окно открылось. — Флора Андерсен внезапно поднимает голову к небу, словно высматривая кого-то. — В комнате появился красивый незнакомец. Он был длинноволосый, в свободном одеянии — что-то вроде одежд библейских пророков, так мне показалось, — правда, черном. Я приняла бы его и за дьявола, но не успела испугаться. Ведь крылья... какие у него были крылья! Из солнечного света, широкие, теплые... — Голос ее звенит, а Джером Андерсен мрачнее тучи. — Я потрогала перья. Это первое, что я сделала, когда он приблизился. Потрогала, сказав: «Как вы красивы, вы ангел?». А он вырвал одно перышко и вложил мне меж ладоней. Перышко было... в его священной крови. И меня озарила благодать, я вдруг заплакала...

– Дорогая, — снова начинает отец Сэма, но теперь его перебивает моя донельзя заинтригованная мама:

– Так у вас есть перо ангела? Неужели такое бывает? Что бы сказал наш преподобный, услышь он это... У вас нет этого перышка с собой?

Флора Андерсен сокрушенно качает головой.

– Оно растаяло с рассветом. Но ангел долго еще сидел в изголовье и вел со мной беседу. Вы не представляете, как это было...

– О чем? — Не скрывает любопытства и отец, на губах которого играет недоверчивая улыбка. — О чем ангел мог с вами... точнее вы могли с ним беседовать?

Миссис Андерсен, благо, не уловив скепсиса, с достоинством расправляет плечи.

– О Сэме, конечно. Больше всего — о Сэме, ведь срок был ранний, и я очень хотела узнать, кто же у меня будет, что его ждет, какая судьба, да и вообще выдержу ли я вторые роды. Наверное, я просто засыпала божьего посланника вопросами, но он терпеливо утешил меня и прогнал страхи. Он сказал, что сына ждет славная судьба. Что я не должна бояться. А потом его благословляющая рука легла мне на живот, и я уснула.

Отец фыркает. На его выразительном лице читается: «Приснитися же такое...»

– Наутро я была свежа и бодра, тревоги изгладились из сердца, — продолжает миссис Андерсен, обращаясь, в основном, к нам с мамой. — Я всегда верила в Господа, вопреки пагубной моде. И я так благодарна Ему за знамение...

— А вскоре я решил, что ей необходимо переменить обстановку, и отправил пожить в Италию, — колко встречает Джером Андерсен. Его улыбка по-прежнему выглядит натянутой. — Там Сэм и родился, и никакие ангелы никого не беспокоили. Надеюсь... — Серые глаза сужаются, — не тревожат и впредь. Слугам господ, если, конечно, они существуют, следует оставаться по месту работы — на небесах. И не приближаться к живым женщинам.

Флора Андерсен безмятежно щебечет:

— Я прекрасно перенесла роды, Сэм появился на свет здоровым и очаровательным. И до сих пор я вспоминаю ту ночную встречу как одно из самых ярких событий жизни. Впрочем... — Она вдруг непосредственно, по-детски находит широкую ладонь мужа на покрывале и сжимает. — Он тоже прав. Поездка в Италию была волшебной. Джером подарил мне мечту.

Так вот почему они не ссорятся, вот каков их рецепт крепкого брака: на эту женщину невозможно злиться, она обезоруживает невинностью. Мистер Андерсен, устало улыбаясь, целует жену в висок, бормочет: «Выдумщица...». Они несколько не стесняются своей нежности, не пекутся о том, что нам с мамой и отцом приходится куда-то прятать взгляды. Впрочем, лучше так, чем если бы ньюйоркцы поругались, а наша семья стала тому принужденным свидетелем. Теперь же над клетчатými пледами — одинокими кораблями посреди колышимого ветром травяного моря — вновь воцарился

мир. Флора Андерсен угощается печеньем, Джером Андерсен с любовью за ней наблюдает.

— Ну, о чем здесь ведутся беседы в мое отсутствие?

Над нами стоит Сэм. Только что он спустился с «плавника», а Джейн осталась на прежнем месте. Развернулась уже в другую сторону, глядит против течения и прижимает букет к груди. Фигуру заливают свет проглянувшего из-за рассеянных облаков солнца, блики на волосах играют карамелью.

— О тебе, — признается миссис Андерсен, с улыбкой шурясь на сына. — Что же ты не вернул нам мисс Бернфилд? Не вредны ли девушке такие сильные ветра?

— В умеренных дозах сильные ветра полезны всем, — подает голос отец. Он, как и я, глядит на Джейн. — А наши яблочки вовсе к таким привыкли. Она вернется.

Только дайте время.

— Да, я тоже уже понял. — Сэм отводит завивающуюся прядь со лба. — Джейн... мисс Бернфилд... нельзя неволять. — Он вдруг улыбается мне и поправляет сам себя, уточняя: — Ни одну из мисс Бернфилд. У вас удивительная семья.

Я не слушаю, как очарованная комплиментом мама начинает уговаривать Сэма чем-нибудь угоститься. Мне горько от этой «удивительной семьи», горько от сладкого мирка, где удивительно — и действительно важно для Сэмюэля — лишь одно существо.

Я обращаю взор на Джейн именно в тот миг, когда она

вдруг хлестко вскидывает руку. Разжимаются пальцы, и старательно собранный букет рассыпается в реку. Со своего места мне не различить уносимых течением красно-золотых маков, не различить беззащитных комочков клевера и синего кружева васильков. Зато я вижу испуганное, тоскливое лицо Джейн — таким оно становится на считанные секунды, прежде чем застыть. Сестра снова зябко поводит плечами, разворачивается, направляется к пледам и, уже присев, говорит:

– Цветы уронила... я такая неловкая, Сэмюэль, простите.

*Выбросила.* Ты выбросила их, намеренно. Я это знаю, и теперь я знаю кое-что еще. Внутри тебя бушует буря, Джейн. Странная буря, которую ты прячешь.

– Ничего страшного. — Сэм верит в ее раскаяние, да и кто бы не поверил, когда Джейн так виновато хмурится? — Они все равно не пережили бы нашу прогулку. Хотите шампанского? Или, может, воды?

...Ты можешь скрыть бурю от него, но не скроешь от меня.

– Что-то случилось, Эмма?

Видимо, я слишком долго на нее смотрела. Настолько, что, вместо того чтобы привычно задать вопрос взглядом, Джейн спрашивает вслух. Требуется ответа: от него не уклониться прилюдно. Но она просто не догадывается, как часто мне приходится от чего-то уклоняться и что-то сдерживать в последние дни. Не догадывается, как славно я этому научилась.

— Да, Джейн. Как всегда грущу, когда грустишь ты. Ведь мне показалось, ты... печалишься? Раз ищешь уединения?

— Я любовалась рекой, только и всего, — отвечает она, будто не замечая моего напряженного тона. — Мы ведь редко забираемся для пикника так далеко. А тут красиво. Правда, миссис Андерсен?

— Да, невероятно! — откликается мать Сэма. — Знаете, уголок этот напоминает мне северную Италию, окрестности Вероны. Там много крохотных речек, и хотя не добывают золото, всюду такое же приволье!

Дальше она говорит об Италии, потом о Нью-Йорке и почти не дает говорить другим. У меня не остается возможности что-либо спросить у Джейн. Сестра безмятежно смеется и задает разговору новые и новые направления, искусно уводя дальше от себя. Сэм вставляет какие-то замечания. Он не спускает с Джейн глаз. Знал бы он... знал бы, видел бы, с каким выражением, каким жестом выбросили его наивные цветы. Но почему? Случилась между ними тайная размолвка? Был у сестры приступ дурного настроения? Или...

...Время бежит, не отвечая на мои вопросы. Бежит, как тяжелые воды Фетер. Вечером мы расстаемся с Андерсенами и возвращаемся домой.

— Каково это — быть влюбленной?

Я тихо спрашиваю уже после вечерней молитвы, когда обе мы лежим в кроватях. У меня есть чудесная недочитанная книга, сборник рассказов По, но мне не читается. Хотя ка-

залось бы, что может быть лучше, чем навести на себя жуть перед сном? Навести, но уснуть в светлой уверенности, что вся жуть живет лишь на страницах, откуда призраками встают мрачные улицы? Нет... не сегодня. Сегодня *жуть* слишком близко, вот-вот постучит в наши уютные окна.

– Каково это? — повторяю я, когда Джейн отводит пустой взор от потолка.

Сестра садится и обнимает руками колени.

– Больно. — Голос так же похож на разбитое зеркало, как и смех.

Сердце сжимается от непонятого предчувствия, задавленной обиды и... жалости. Я перебираюсь к Джейн на кровать и сажусь рядом. Вдруг замечаю: на прикроватной тумбе — резная фигурка, лиса. Та самая, которую мать когда-то выменяла у индейцев и о которой сегодня вспоминала. Флора Андерсен назвала ее знамением. Зачем Джейн разыскала зверька, брошенного некогда в дальний ящик? Зачем выставила рядом наподобие оберега? Она ведь не слышала наш разговор...

– Что гнетет тебя?

Почему-то я не могу смотреть на сестру. Упрямо разглядываю тумбочку и обращаю внимание: здесь еще фигурка, из темного дерева. Остроухое животное вроде волка глядит осмысленно и вырезано так же искусно, как лисенок. Я узнаю *койота*, героя мифов. Кто сделал его, интересно? Догадка есть. Она крепнет, несмотря на все недавние разгово-

ры. «Немного краснокожая...». Глупая, глупая Джейн.

— Не смей врать, — добавляю я, все-таки поднимая голову. — Не смей. Я люблю тебя, я вижу: с тобой что-то не так. Ты... не счастлива! Ты не счастлива, хотя...

— Хотя должна быть?

Она глядит в ответ. Волосы распущены, пряди перекинуты через плечо, змеятся по груди. Она рассеянно перебирает их, заплетает слабую косичку и снова расплетает. Джейн бледна — или это обман неярко света? Я киваю и беру ее за руки, заставляю оставить волосы в покое. Она сжимает мои пальцы.

— Я счастлива. — Губы едва шевелятся. — Просто все слишком меняется. Наверное, я боюсь. Я вижу, к чему все идет. И ты тоже видишь.

Она запинаясь, высвобождает руку и потирает висок. Закрывает глаза, тут же опять смотрит в упор. Она хочет, чтобы я поняла, буквально молит об этом. И я пытаюсь.

— У нас тут... провинция, — продолжает Джейн хмуро. — Живем по законам едва ли не прошлого века. Я не решалась говорить про это с Сэмом, но сомневаюсь, что там, в его Нью-Йорке, так быстро решают серьезные дела. Вопросы...

— Брака? — в горле становится сухо.

— Будущего. — Джейн кивает. — Горожане осторожнее провинциалов. Дают себе время узнать друг друга, намного больше времени. Вот только Флора Андерсен — южанка. Южанка из Вирджинии, все мужчины ее рода сражались на

войне и погибли. А что такое по сути Юг, как бы ни разрастались его города? Та же... провинция.

Провинция, где нет ничего страшнее, чем упустить хорошую партию. Это моя сестра хочет сказать, поэтому чувствует себя... обреченной? Но почему? Почему, проклятье, она ведет себя как приговоренная? На нее давит мама? Отец? Или...

— Не выходи за него, — слетает с губ. Кажется, я выдала все, буквально все, что таила, но продолжаю: — Если ты боишься... не выходи. Прошло всего две недели, мистер Андерсен — человек с холодной головой, не станет никуда спешить.

Джейн грустно смотрит на меня, и я вспоминаю: «Все свои». Все свои, а значит, многое решено. Мистер Андерсен — в конце концов, деловой человек, как их называют, бизнесмен, ценящий свое время. Точно прочтя мои мысли, Джейн устало отвечает:

— Эмма, когда кончится лето, Андерсены уедут, а отец Сэма — и того раньше, в начале августа. Ты... наверное, ты не знаешь, что вообще привело их сюда помимо железной дороги, с которой еще ничего не решено.

Это скорее отговорка, далекие планы.

— И что же?..

— Флора Андерсен, — Джейн тщательно подбирает слова, — не совсем здорова, по мнению ее мужа. Я имею в виду здоровье душевное. Она очень возбуждима. Видит странные

сны. Рассказывает дикие истории на людях...

– Да, сегодня как раз рассказывала одну, об ангеле с солнечными крыльями.

Джейн с блеклой улыбкой, без удивления или интереса кивает.

– Мистер Андерсен совмещает здесь несколько дел разом: осматривает окрестности для прокладки рельсов, помогает супруге сменить обстановку, вводит сына в курс дел и... — Джейн вздыхает и опять трет висок. Ее рука тянется к моей, сжимает, а щеки заливают слабый румянец. — И, вероятно, вправду ищет ему невесту. Сэм говорил: только приехав, отец планировал много знакомств, и все с семьями, где есть дочери. Встреча с нами переменяла его планы...

– К чему это? — Поглаживая ее ладонь большим пальцем, убеждаю себя: «Не больно, все равно, *все равно*». — Тебе... тебе что-то все-таки сказали? Уже сказали?

Сестра качает головой.

– Просто если они уедут, могут и не вернуться. Просто если я не разрешу *торопить события*, их поторопит кто-то другой, у нас столько соседок. Просто Оровилл угасает, Эмма, а время бежит. Перевозки будут прибыльными еще пару лет, но постепенно — да уже сейчас — все самое важное переносится в Сакраменто и дальше, а мы остаемся на краю, доходы падают, как бы отец ни искал альтернативы золоту. За железными дорогами будущее. И родители... думаю, они *торопят события*, в основном, потому что понимают это.

И...

Мои руки сжимаются так, что я ощущаю каждый сустав пальцев Джейн; она морщится. Начинает стучать в висках, глаза щиплет. Я не верю ушам. Горячо, запальчиво перебиваю:

– Так Сэм... для тебя Сэм — только деньги?

Я будто разучилась говорить; вопрос звучит бессвязным лепетом. Только бы не выдать обуревающих меня недоумения и отчаяния, не закричать. Но Джейн не задевает предположение, а вызывает лишь смех — тихий, все такой же расколотый, как днем.

– Мать с отцом видят, что мне нравится Сэм, — заканчивает она фразу, которую я прервала. — Видят, потому не считают зазорным говорить, что наш брак был бы не только счастливым, но и крайне выгодным. Два в одном, понимаешь, Эмма? Ничем не жертвовать: ни счастьем, ни благополучием. Найти судьбу и спасти семью разом. Такие шансы нельзя упускать.

– Нельзя... — эхом отзываюсь я.

Мне теперь стыдно за горький комок, терзавший душу еще минуту назад, стыдно, что я заподозрила Джейн в расчете. Я корю ее за наше отдаление, корю за то, что удача улыбнулась ей, корю, видя, как она любима. Не пора ли очнуться и начать корить себя? За то, что позволяю себе отвратительные домыслы, что не воспитываю смирение?

– Что бы ни случилось. — Я выпускаю ее руки. — Что

бы ни случилось, Джейн, я буду молиться, чтобы у тебя все было хорошо. И меня услышат.

— Эмма...

Она обнимает меня. И так мы замираем.

— Джейн, — тихо окликаю я, глядя ее по плечу. — Джейн, как ты думаешь... каково быть влюбленной в кого-то неправильного?

Догадка все не дает покоя. Другое — желание понять, что же делать с самой собой, со своей тайной, — тоже не отпускает. Джейн вздрагивает; я не вижу ее лица, но точно знаю: там снова испуганное, тоскливое выражение. Не стоило спрашивать. Лучше было задать вопрос Господу и попросить покоя, для себя и для сестры.

— Неправильного?.. Эмма, от таких чувств лучше бежать. Куда угодно. Лучше всего — туда, где что-то поможет тебе их забыть.

— Например, в Нью-Йорк? — Я отстраняюсь, и невольно на губах появляется улыбка.

— Почему бы не в Нью-Йорк... там наверняка славно.

Но Джейн не улыбается и явно не хочет продолжать разговор. Я щажу ее, оставляю даже мысль спросить, почему она выбросила цветы. Пошептавшись еще немного, мы желаем друг другу доброй ночи и ложимся. Я не могу уснуть почти до рассвета.

...Через день Андерсены во второй раз приедут поговорить с нашими родителями «серьезно». Через день Джейн

исчезнет из дома, а к ночи искать ее будет весь город.

Джейн остается жить четыре дня. Но мне все чаще кажется, что она умерла намного раньше.

## 6

# Саркофаг и гроб

## Здесь

Мох расступается; из рыхлой зеленой плоти восстает лик — уродливая обезьяна с высоким лбом, тяжелыми надбровьями, маленьким носом и длинным ртом-щелью. Изваяние высечено на крышке в полный рост и плавно вырастает, по мере того как земля с чавканьем исторгает Саркофаг. Вскоре каменная морда уже на уровне наших лиц, потом поднимается выше. Саркофаг повисает в воздухе, в паре дюймов над самыми длинными побегими осоки. Настает оглушительная тишина.

Саркофаг огромен; глядя снизу вверх, я ощущаю холод отбрасываемой им тени. Камень порос лишайниками, в трещинах копошатся жуки. Я не воображала подобного, даже читая истории о египетских гробницах. По спине бегут мурашки, колени дрожат. Гадаю: может ли открыться крышка? И... что явится из темного нутра? Мумия? Рассыпающийся скелет? Оборотень вроде того, что носит на шее серебряный доллар?

У Белой Обезьяны могучие плечи. Руки скрещены на гру-

ди, искусно вырезана не только шерсть, но и одеяние, украшенное орнаментами и бусинами. Веки опущены, существо словно сковано сном. Заметив это, я испытываю неожиданное облегчение, а вот Кьори, опустившая свирель, наоборот встревожена и... расстроена?

— О нет. — Жрица делает шаг, чуть не плачет. — Нет, почему сейчас? — Она в отчаянии оглядывается. — Мы пришли зря! Вернемся позже. Светоч не может с нами говорить.

Позже?.. Я вспоминаю путешествие через душный сумрак тропического леса. Позже? В висках пульсирует: «Повторить это? Ну нет!». А еще «позже» значит, что жрица нарушает обещание, что не проводит меня и не отпустит. А ведь я уже потеряла счет времени, не знаю, как давно отсутствую там, дома. Что с родителями? Не хватились ли они?..

Пока я беспомощнее тонущего ребенка барахтаюсь в мыслях, Цьяши высказывает их вслух — одним крепким, не подобающим женщине ругательством. Размашисто приблизившись к Саркофагу и подбоченившись, она интересуется у подруги:

— Это он что, сам сообщил? А ну! — Она стучит кулаком чуть ниже обезьяньей грудины. — Эй! Светоч!

Мы принесли тебе вести! Проснись!

Кьори в ужасе хватает ее за плечо и оттаскивает.

— Ты что? Так нельзя! Не смей, ты даже не поклонилась!

Цьяши фыркает.

— А я вот слышала, он никогда не задирает нос и не лю-

бил все эти церемониалы... Ладно, трусиха. — Поймав новый испуганный взгляд, Гибкая Лоза прячет руки за спину. — Я не буду его трогать. Но с чего он отказывается говорить? Может, ты попросишь получше?

—Нет.

Кьори бережно касается обезьяньей груди и ведет вверх. Привстает на цыпочки, и постепенно дрожащие пальцы добираются до морды, ласково обводят губы, поднимаются к сомкнутым ресницам. Эти длинные ресницы тоже вырезаны все до одной, я все больше убеждаюсь: Саркофаг действительно нерукотворен. Ни один скульптор не создаст такую вещь. Ни один смертный скульптор.

— Он... спит? — осторожно уточняю я. Кьори качает головой.

— Его нет. Прямо сейчас его здесь нет.

— Что? — Цьяши опять вспыхивает, но держит обещание: не машет кулаками. — Всем известно, что он не может выйти, для этого нужно, чтобы...

— Цьяши.

Не дает о чем-то проболтаться? Впрочем, все равно, пусть. Я делаю вид, что вообще ничего не слышала, вглядываюсь в Обезьяну. Пальцы Кьори по-прежнему поглаживают сомкнутые каменные веки.

— Он... здесь. Но *не* здесь. Именно поэтому обычно я хожу по *зову*. Когда он ждет, у него, — жрица убирает руку, — открыты глаза. Но я так надеялась застать его, так...

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.